Э. Д. МИЛЛЕР

РОМАН О МОСКВЕ, ИЗДАННЫЙ В 28 СТРАНАХ

ПОДСНЕЖНИКИ



Великолепный портрет города лихорадочного греха, неонового голода и тихой невинности
The Telegraph

Номинация на BOOKER PRIZE в 2011 году

Подснежники
Эндрю Д. Миллер

Аннотация
Эндрю Д. Миллер. Подснежники
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая

Аннотация

Британский журналист Эндрю Миллер провел в Москве несколько лет в середине двухтысячных, работая корреспондентом журнала «Экономист». Этот опыт лег в основу его дебютного романа «Подснежники», который попал в шорт-лист британского Букера-2011. Формально, это психологический триллер, главный герой, адвокат, влюбившийся в Москву, оказывается в центре очень сложной для иностранца и такой понятной всем нам аферы с недвижимостью. Но на самом деле это роман о Москве, признание ей в любви и портрет России, увиденный чуть наивным и романтичным иностранцем. Герой Эндрю Миллера пытается понять, как живут в России обычные люди. О жизни нефтяных магнатов и завсегдатаев стрип-клубов ему и так известно больше, чем хотелось бы. На глазах у героя «Подснежников» происходят преступления, о которых ему хотелось бы забыть, но они всплывают у него в памяти и после возвращения на родину, постоянно наводят на размышления о том, какую роль

он в них сыграл. Писатель рассуждает о том, как Россия стала испытанием характера придуманного им персонажа.

Эта книга не только о России. Конечно, она о России тоже, и я надеюсь, что мне удалось верно передать атмосферу, царившую в Москве в те годы, которые охватывает повествование. Но конечная цель была не в этом. Я стремился написать не о коррупции и аморальности в России, а о коррупции и аморальности, свойственных людям вообще.

Э.Д. Миллер

Эндрю Д. Миллер
Подснежники

Подснежник:
1. Рано расцветающее белое луковичное растение с поникающими белыми цветками.
2. Московский сленг. Зарытый в снег труп, который обнаруживают, когда начинают таять сугробы.

Аркадию, Бекки, Гаю, Марку и в особенности Эмме.

Унюхал я его раньше, чем углядел.

На тротуаре и проезжей части улицы стояли кружком люди, много, все больше милицейские, — кто-то говорил по мобильному, кто-то курил, кто-то смотрел на асфальт, кто-то в сторону. Приближаясь к ним, я видел только спины и поначалу решил, что все эти люди в форме здесь из-за дорожного происшествия или, быть может, облавы на незаконных иммигрантов. А потом до меня донесся запах. Запах, похожий на тот, что стоит в доме, когда возвращаешься после выходных и обнаруживаешь, что мусор ты перед отъездом вынести забыл, — густой, кислый, достаточно сильный, чтобы забить обычный летний смрад пива и революции. Запах-то его и выдал.

Подойдя метров на десять, я увидел ногу. Одну — выглядевшую так, точно ее владелец неторопливо выбирается из лимузина. Она и сейчас стоит у меня перед глазами. Нога в дешевом полуботинке, над ним — полоска серого носка, а над полоской — зеленоватая кожа.

Это он еще хорошо сохранился, спасибо морозам, сказал мне кто-то. Сколько времени он тут пролежал, они не знали. Может, и всю зиму, заметил один из милиционеров. Молотком

пришибли, сказал он, а то и кирпичом. Грязная работа. Он спросил, не хочу ли я посмотреть на все остальное. Я ответил: нет, спасибо. За ту зиму я уже увидел и узнал куда больше, чем мне требовалось.

Ты все твердишь, что я ничего не рассказываю о моей жизни в Москве, о причинах, по которым уехал оттуда. Ты права, я каждый раз подыскиваю какую-нибудь отговорку, и скоро ты поймешь почему. Но ты все спрашиваешь и спрашиваешь, и в последнее время я по какой-то причине только об этом и думаю — и остановиться не могу. Возможно, потому, что от «большого события» нас отделяют всего три месяца и мне пора подвести кое-какие итоги. Я ощущаю потребность рассказать кому-то о России, даже если этот рассказ причинит мне боль. А возможно, дело в том, что тебе следует знать обо мне все — мы же с тобой собираемся обменяться определенными обещаниями и, может быть, даже сдержать их. И я решил, что ты имеешь право знать все. Решил, что будет проще, если я это запишу. Тогда тебе не придется притворяться, будто ничего страшного не произошло, а мне — смотреть, как ты притворяешься.

Ну так вот, сейчас у тебя в руках то, что я на-

писал. Ты хотела узнать, как закончилась моя жизнь в Москве. Что же, закончилась-то она, или почти закончилась, в тот день, когда я увидел ногу. Хотя на самом деле конец начался годом раньше, в сентябре, в метро.

Кстати, когда я поведал о ноге Стиву Уолшу, он сказал: «Подснежник. Это был подснежник». По его словам, так они называются у русских — трупы, которые словно бы всплывают на поверхность при оттепели. Большей частью это останки пьяниц или бездомных — людей, которые, просто сдавшись, сами ложатся под белый покров, — ну и жертвы, зарытые убийцами в сугробы.

Подснежники — зло, которое рядом, всегда рядом, совсем близко, но ты его почему-то не замечаешь. Грехи, которые укрывает зима — и порой навсегда.

Глава первая

По крайней мере, имя ее мне известно. Мария Коваленко, для друзей — Маша. Впервые я увидел эту девушку на платформе станции метро «Площадь Революции». Лицо ее оставалось открытым моим взглядам секунд пять, потом она вытащила и поднесла к лицу зеркальце, а другой рукой надела темные очки, — помню, я подумал, что она купила и то и другое в киоске подземного перехода. Она стояла, прислонясь к колонне на том конце платформы, где возвышаются изваяния людей партикулярных — спортсменов, инженеров, грудастых колхозниц и матерей с мускулистыми младенцами на руках. Пожалуй, я вглядывался в нее дольше, чем следовало.

Переходя с этой украшенной статуями платформы на зеленую ветку, сталкиваешься со своего рода визуальным эффектом. Ты пересекаешь поездной путь по переброшенному над ним мостику и по одну его сторону видишь флотилию дискообразных светильников, тянущихся вдоль платформы к темноте, из которой появляются поезда, а по другую — людей, совершающих

такой же переход по параллельному мостику, близкому, но все-таки отдельному от твоего. В тот день я, взглянув направо, снова увидел девушку в темных очках, шедшую в одну со мной сторону.

Я вошел в вагон поезда, чтобы доехать до «Тверской». Стоял под желтоватым потолком вагона с его старенькими лампами дневного света, благодаря которым при всякой моей поездке в метро ощущал себя статистом какого-то снятого в семидесятых годах параноидального фильма с Дональдом Сазерлендом. На «Тверской» я поднялся по освещаемому фаллическими лампами эскалатору, привычно придержал тяжелую стеклянную дверь человеку, следовавшему за мной, и вышел в длинный, низкий подземный переход, протянувшийся под Пушкинской площадью. И тут она закричала.

Я обернулся. Нас разделяло метров пять, — она не только кричала, но и боролась с тощим мужчиной, вырывавшим из ее рук сумочку (откровенную подделку под «Барберри»). Девушка звала на помощь, и ее спутница, невесть откуда взявшаяся подруга — Катя, как выяснилось впоследствии, — кричала тоже. Несколько секунд я просто смотрел, но тут мужчина занес кулак, чтобы ударить ее, и кто-то завопил за моей спи-

ной, надеясь, быть может, остановить его. И я подскочил к тощему грабителю, схватил его за ворот и рванул на себя.

Он выпустил сумочку, задергал локтями, пытаясь ударить меня, но не достал. Я отпустил ворот его куртки, и тощий, потеряв равновесие, упал. Все завершилось очень быстро, я даже разглядеть его толком не успел. Он больно пнул меня по голени, вскочил и побежал по переходу в дальний его конец, к лестнице, которая поднимается на Тверскую — московскую Оксфорд-стрит (правда, забитую противозаконно припаркованными машинами), полого спускающуюся от Пушкинской площади к Красной. У подножия лестницы стояла парочка милиционеров, однако они были слишком заняты: курили и выискивали в толпе иммигрантов, а потому на грабителя внимания не обратили.

— Спасибо, — сказала Маша. Темные очки она сняла.

На ней были джинсы в обтяжку, заправленные в коричневые кожаные сапоги до колена, и белая блузка, расстегнутая чуть ниже — на одну пуговицу, — чем требовалось. Поверх блузки красовалось странноватое осеннее пальто брежневской эпохи, какие часто носят не слишком

обеспеченные русские женщины. Если приглядеться к нему сблизи, видишь, что пошито оно не то из коврового покрытия, не то из пляжного полотенца и увенчано кошачьим воротником, однако издали его владелица походит на обольстительницу из триллера об эпохе холодной войны, вытягивающую секретную информацию из допущенного к таковой недотепы.[1] У девушки был прямой худощавый нос, бледная кожа и длинные рыжевато-карие волосы — улыбнись ей удача, она могла бы сидеть в тот день под затянутым золотой фольгой потолком сверхдорогого ресторана под названием «Дворец герцога» или «Охотничий домик», угощаясь черной икрой и снисходительно улыбаясь никелевому магнату или нефтеторговцу со связями на самом верху. Возможно, там она сейчас и сидит, но в этом я почему-то сомневаюсь.

— Ой, спасибо, — сказала ее подруга и сжала пальцами мою правую руку.

Ладонь ее оказалась легкой и теплой. Насколько я мог судить, девушке в темных очках было

[1] Примечания: 1

Взгляд западноевропейца, даже прожившего в России несколько лет, на реалии нашей жизни порой оставляет в недоумении, но мы-то с вами знаем, что девушек в пальто из полотенца или коврового покрытия в Москве не водилось никогда *(примеч. издателя).*

немного за двадцать — вероятно, года двадцать три, — а подруге ее и того меньше, от силы девятнадцать. Подруга была в белых сапогах, розовой мини-юбке из искусственной кожи и такой же курточке. Чуть курносый носик, прямые светлые волосы и одна из тех откровенно призывных улыбок, с какими русские девушки смотрят мужчине в глаза. Такая же улыбка была у младенца Иисуса, которого мы с тобой видели — помнишь? — в церкви, стоящей на берегу моря неподалеку от Римини деревни, — умудренная улыбка старика на детском лице, говорящая: «Я знаю, кто ты и чего хочешь. Я родился с этим знанием».

— Ничево, — по-русски ответил я. И добавил, тоже по-русски: — Все в порядке?

— Все нормально, — ответила девушка в темных очках.

— Хорошо, — сказал я.

Мы улыбнулись друг дружке. Очки мои запотели от назойливого тепла, в котором круглый год утопает метро. Из торговавшего компакт-дисками подземного киоска доносилась, помню, народная песня, исполнявшаяся одним из тех вечно пьяных русских шансонье, что начинают курить, судя по их голосам, еще в материнской утробе.

В параллельной вселенной, в другой жизни, на этом все наверняка и заканчивается. Мы прощаемся, я иду домой, а назавтра возвращаюсь к моим юридическим делам. Может быть, в той жизни я и ныне там, в Москве, — подыскал другую работу и остался, а на родину так и не возвратился и тебя не встретил. Девушки же отправляются туда и к тем, где и с кем собирались провести время, — и провели бы, не подвернись им я. Но меня пьянило чувство, которое возникает, когда ты рискнул и риск сошел тебе с рук, — кайф, ощущаемый человеком, сделавшим что-то хорошее. Совершившим доброе дело в местах, вообще говоря, беспощадных. Я был пусть и мелким, но все же героем и стал им благодаря этим девушкам, за что и испытывал к ним благодарность.

Та, что помоложе, продолжала улыбаться, а старшая просто смотрела на меня. Она была выше подруги, пять футов и девять-десять дюймов, да еще и на высоких каблуках, отчего зеленые глаза ее находились вровень с моими. Восхитительные были глаза. Пауза подзатянулась, кому-то следовало нарушить молчание, и она спросила, по-английски:

— Вы откуда?

— Из Лондона, — также по-английски отве-

тил я.

Вообще-то, родился и вырос я, как ты знаешь, не в Лондоне, но все же достаточно близко к нему. И я тоже спросил, по-русски:

— А вы откуда?

— Сейчас мы живем здесь, в Москве, — опять-таки по-английски ответила она.

К тому времени языковые игры такого рода стали для меня привычными. Русские девушки вечно уверяют, что им хочется попрактиковаться в английском. Но иногда им хочется также уверить тебя, что ты тут главный, — страна эта принадлежит, разумеется, им, однако с твоим языком тебе в ней ничто не грозит.

Последовала еще одна заполненная улыбками пауза.

— Так спасибо, — произнесла подруга.

Никто из нас не стронулся с места. Маша, помолчав немного, спросила:

— Вы куда идете?

— Домой, — ответил я, — а вы?

— Мы просто гуляем.

— Так погуляем вместе, — предложил я.

И мы пошли гулять.

Была середина сентября. «Бабушкино лето», так зовут это время года русские, — горьковато-слад-

кий наплыв бархатистого тепла, наступавший некогда после того, как крестьянки завершали сбор урожая, — в теперешней же Москве то была пора последних выпивок на свежем воздухе — на площадях и Бульварном кольце (прелестном древнем пути, огибавшем Кремль и обратившемся ныне в череду пересекаемых улицами бульваров с лужайками, скамьями и статуями знаменитых писателей и забытых революционеров). Самое лучшее время для посещения Москвы — не уверен, впрочем, что мы с тобой когда-нибудь попадем в нее. На лотках у станций метро были разложены предвестницы близкой зимы, китайские перчатки на рыбьем меху, однако длинная очередь туристов так и тянулась по Красной площади к ее паноптикуму гробнице Ленина, а в теплые послеполуденные часы половина женщин столицы так и расхаживали в довольно легких одежках на голое тело.

Из подземного перехода мы вышли у магазина «Армения». Пересекли зажатую с двух сторон оградами проезжую часть Бульварного кольца и оказались перед входом на бульвар. В небе стояло всего одно облачко, да из трубы какого-то завода либо городской электростанции поднимался столб пушистого дыма, едва разлимый в синеве

раннего вечера. Прекрасная была картина. Воздух пах дешевым бензином, поджариваемым на углях мясом и похотью.

Старшая из девушек спросила по-английски:

— Если не секрет, что вы делаете в Москве?

— Я юрист, — по-русски ответил я.

Девушки быстро обменялись несколькими фразами, такими стремительными и негромкими, что я не смог ничего разобрать.

Та, что помоложе, спросила:

— А давно вы в Москве?

— Четыре года, — ответил я. — Почти четыре.

— Вам она нравится? — спросила девушка в темных очках. — Нравится вам наша Москва?

Я ответил, что Москва мне очень нравится, полагая, что именно это она услышать и хочет. Как я давно уже обнаружил, большинству русских девушек присуща машинальная национальная гордость, даже если мечтают они лишь об одном — убраться отсюда и отправиться в Лос-Анджелес или на Лазурный Берег.

— А чем занимаетесь вы? — спросил я.

— Работаю в магазине. Продаю мобильные телефоны, — ответила Маша.

— И где находится ваш магазин?

— За рекой, — ответила она. — Поблизости от

Третьяковской галереи.

И, помолчав пару секунд, добавила:

— Вы прекрасно говорите по-русски.

Она преувеличивала. По-русски я говорил лучше большинства продувных банкиров и шарлатанов-консультантов, привлеченных в Москву золотой (я имею в виду черное золото) лихорадкой, — якобы светских англичан, крепкозубых американцев и жуликоватых скандинавов, — большинству этих людей удается сновать между их офисами, квартирами в охраняемых домах, борделями, которые позволяют списывать потраченные там деньги на представительские расходы, дорогими ресторанами и аэропортами, обходясь двадцатью с чем-то русскими словами. Я уже приближался к тому, чтобы заговорить по-русски бегло, однако мой выговор все еще выдавал меня раньше, чем я успевал покончить с первым слогом. Маша с Катей, должно быть, засекли во мне иностранца еще до того, как я открыл рот. Было воскресенье, я возвращался домой со скучного сборища работавших в Москве иностранцев, происходившего на квартире холостого эксперта по финансовой отчетности. Одет я был, помнится, в довольно новые джинсы, замшевые туфли и джемпер с треугольным вы-

резом поверх рубашки от «Маркса и Спенсера». Москвичи так не одеваются. Люди с деньгами стремятся обзавестись итальянскими туфлями и рубашками наподобие тех, какие им случилось увидеть на кинозвездах, люди безденежные, а таких большинство, носят контрабандную одежду из списанных армейских излишков либо дешевую белорусскую обувь и унылого цвета брюки.

Маша же, напротив, по-английски говорила превосходно — даже при том, что грамматика у нее немного хромала. Некоторые из русских женщин, переходя на английский, начинают слишком уж следить за своей дикцией и оттого попискивают, а вот голос Маши спадал вниз почти до негромкого рычания, как будто она изголодалась по раскатистым «р». Звучал он так, точно она только-только вернулась с затянувшейся на всю ночь вечеринки. Или с войны.

Мы приближались к пивным палаткам, которые открываются здесь в первый теплый день мая, когда все жители города высыпают на улицы и произойти может все что угодно, а закрываются в октябре, под конец бабушкина лета.

— А скажите, пожалуйста, — спросила все так же по-английски младшая из девушек. — Одна подруга рассказывала мне, что в Англии вы ис-

пользуете два…

Она не договорила и принялась по-русски совещаться с подругой. Я разобрал слова «горячая», «холодная», «вода».

— Как это называется, то, из чего идет вода? — спросила старшая. — В ванной комнате.

— *Taps*, краны.

— Да, краны, — продолжала младшая. — Подруга говорила, что в Англии их обязательно два. И она иногда ошпаривала руки горячей водой.

— Да, это так, — подтвердил я.

Мы шли по центральной дорожке бульвара, мимо качелей и шатких детских горок. Толстая старушка торговала яблоками.

— А правда, — спросила младшая, — что в Лондоне всегда стоит густой туман?

— Нет, — ответил я. — Сто лет назад — да, но теперь уже нет.

Она потупилась. Маша, девушка в темных очках, улыбнулась. Размышляя сейчас о том, что мне понравилось в ней в тот первый вечер, помимо долгого, крепкого газельего тела, голоса, глаз, я понимаю: ее ироничность.

Лицо Маши говорило, что она уже знает, чем все закончится, и почти желает, чтобы знал и я. Может быть, это мне теперь так кажется, однако

я думаю, пожалуй, что она уже тогда просила у меня прощения. Думаю, что для нее люди и их поступки были сущностями раздельными, как если бы человек мог похоронить все, что он натворил, и забыть о нем, — так, точно его прошлое принадлежит кому-то другому.

Мы дошли до места, где в бульвар упиралась моя улица. Меня не покидает шальное чувство, что до встречи с тобой я только и делал, что вращался в обществе женщин первой лиги — наполовину издерганных, наполовину бесшабашных, — словно играл на сцене, жил чужой жизнью, от которой мне полагалось взять все, что я смогу.

Я повел рукой в сторону своего дома и сказал:

— Я вон там живу.

А затем вдруг услышал свой голос, произносивший:

— Не хотите зайти, выпить чаю?

Я понимаю, тебе эта моя попытка покажется смехотворной, однако за пару лет до того, как иностранцы перестали быть для москвичей экзотикой, а заграничный юрист — человеком, зарабатывавшим такие деньги, что ему следовало отвечать только согласием, она могла сработать. И *срабатывала.*

Маша ответила отказом.

— Но если вы захотите позвонить нам, — сказала она, — то пожалуйста.

Она взглянула на подругу, и та, достав из левого нагрудного кармана ручку, записала номер телефона на обороте троллейбусного билета, протянула билет мне, и я принял его.

— Меня зовут Маша, — сказала старшая. — А это Катя. Моя сестра.

— Ник, — ответил я.

Катя потянулась ко мне, чмокнула в щеку. И улыбнулась — еще одной улыбкой, имеющейся в запасе у каждой русской девушки: азиатской, ничего не значащей. Они уходили от меня по бульвару, а я глядел им вслед — дольше, чем было необходимо.

Бульварное кольцо заполняли выпивохи, спавшие на скамейках бездомные и целовавшиеся парочки. Стайки подростков окружили сидевших на корточках гитаристов. Было еще достаточно тепло для того, чтобы все окна ресторана на углу моей улицы стояли настежь, позволяя свежему воздуху овевать набивавшихся туда летом рублевых миллионеров и средней руки проституток. Чтобы обогнуть вереницу заполнивших тротуар черных «мерседесов» и «хаммеров» (богатством

воображения их хозяева не отличались), мне пришлось сойти на проезжую часть.

Наверное, оно могло случиться и в какой-то другой день, — возможно, воображение просто поставило это событие в один ряд со встречей в метро, — однако память моя утверждает, что именно в тот вечер я и заметил впервые старенькие «Жигули». Машина стояла на моей стороне улицы, втиснувшись между двумя «БМВ», точно призрак российского прошлого или ответ на вопрос «что здесь лишнее?». Она как будто сошла с рисунка, сделанного маленьким ребенком: ящик на колесах, на нем другой, поменьше, — ребенок, пожалуй, усадил бы за ее руль состоящего из палочек водителя, — и глупые круглые фары, в которых тот же ребенок мог, расшалившись, изобразить зрачки, сообщив им сходство с глазами. То была машина из тех, на которые большинство москвичей копило половину своей жизни (во всяком случае, так они всегда говорили), экономя, изнывая от неутоленного желания, стараясь пробиться в списки очередников на покупку, и все это, чтобы обнаружить — после того как пала Стена и по телевизору начали показывать Америку, а имевшие необходимые связи соотечественники стали покупать последние импортные

модели, — что даже мечты их и те были убогими. Наверняка сказать о ней что-либо я затруднился бы, однако машина была, похоже, когда-то выкрашена в ржаво-оранжевый цвет. Теперь бока ее покрывали, точно у вышедшего из боя танка, масло и грязь, — этакая темная короста, которая, как знал всякий честный с собой, проживший несколько лет в Москве иностранец, покрывала изнутри и его, а может быть, и его душу тоже.

Тротуар, ведший к двери моего дома, почти сливался с проезжей частью, что для российских тротуаров не редкость. Я миновал церковную ограду и «Жигули», набрал на цифровом замке код и прошел в дверь.

Жил я в одном из тех помпезных зданий, что возводились перед самой революцией уже обреченными на гибель богатыми купцами. Подобно самой столице, оно перенесло столько грубых переделок, что выглядело теперь состоящим из нескольких слепленных воедино совершенно разных домов. К одной из стен приторочили уродливый наружный лифт, сверху на дом нахлобучили шестой этаж, однако внутри дома все-таки уцелели изначальные лестничные перила с коваными завитушками. Двери квартир были по большей части стальными — топором

не прошибешь, — но приукрашенными обивкой из поддельной кожи: мода, которая иногда наводила меня на мысль, что вся более-менее состоятельная Москва — это сумасшедший дом с неполным штатом охранников. На четвертом этаже стоял запах кошачьей мочи, а из-за двери моего соседа, Олега Николаевича, доносился визг какой-то пострадавшей от нервного срыва русской симфонии. На пятом я отпер три замка моей, тоже обитой искусственной кожей, двери и, войдя в квартиру, прямиком направился на кухню, сел за мой маленький холостяцкий стол и достал из бумажника троллейбусный билет с телефоном Маши.

В Англии, до встречи с тобой, у меня всего лишь один раз сложилось с женщиной то, что ты назвала бы серьезными отношениями. По-моему, я рассказывал тебе о ней — о Натали. Мы познакомились в университете, но до одной пьянки в Шордиче (отмечался чей-то день рождения) как о возможных любовниках друг о друге не помышляли. Мне кажется, ни ей, ни мне просто не хватало энергии, чтобы покончить с нашей связью после того, как она началась, и шесть или семь месяцев спустя Натали поселилась в моей тогдашней квартире, не поинтересовавшись, со-

гласен я на это или не согласен. Не могу сказать, что я испытал настоящее облегчение, когда она съехала, заявив, что ей необходимо подумать и она хочет, чтобы подумал и я, однако и горем особым тоже не проникся. Мы потеряли друг дружку из виду еще до того, как я отправился в Москву.

Было несколько русских девушек, которые, казалось, могли бы стать настоящими моими подругами, но ни одной из них не хватило на срок, превышавший продолжительностью лето. Одна испытала горькое разочарование, обнаружив, что у меня нет того, чего она жаждала и ожидала: машины, прилагающегося к ней водителя, дурацкой собачонки, с которыми богатые девицы слоняются по мастерским модельеров, расположенным невдалеке от Кремля на мощенных булыжником улочках. Другая — по-моему, ее звали Дашей, — переночевав у меня в третий раз, затеяла рассовывать всякую всячину по моему платяному шкафу и висевшему в ванной над раковиной шкафчику: шарфики, пустые пузырьки от духов, записочки, гласившие по-русски: «Я тебя люблю». Я спросил у Стива Уолша (ты ведь помнишь Стива, зарубежного корреспондента и большого бонвивана, — ты присутствовала при нашей встрече в Сохо, и он тебе не понравился),

что бы это могло значить. Стив ответил, что она метит территорию: если я приведу к себе другую женщину, та сразу поймет, что какая-то еще побывала здесь до нее. Однако в тот сентябрь в Москве уже следовало, знакомясь с девушкой, думать о своей безопасности — из-за СПИДа, но также и потому, что иногда мужчины-иностранцы приходили в клуб, встречали там красивую девушку, потом уходили в туалет, оставив свою вышивку на столе, после чего просыпались без бумажника в кармане на заднем сиденье такси, обстоятельства посадки в которое совершенно выветрились из их памяти, или просто в луже, а некоторые, хватившие чрезмерную дозу, не просыпались и вовсе.

Я никогда не мог понять, что получали люди вроде моего брата, что надеялась получить, пока не получила совсем другое, моя сестра, от того, к чему приближаемся сейчас мы с тобой, — от взаимного договора, оседлой жизни, одного и того же тела на веки вечные. Соглашаясь на все это, каждый из супругов получает постоянную поддержку, ласковое прозвище и поглаживание по голове — ночью, когда ему хочется плакать. Я полагал, что мне оно ни к чему, считал себя, скажу тебе правду, одним из тех, кому лучше живется

без этого. Возможно, я обязан такими мыслями родителям, начавшим слишком рано, лупившим, даже не замечая того, своих детей по головам, напрочь забывшим, что, собственно, им нравилось друг в друге тогда, в самом начале. В детстве я думал, что мама с папой просто перемогаются, как умеют, — две старые собаки на одной псарне, слишком уставшие, чтобы грызться и дальше. Дома они непрерывно смотрели телевизор, так что разговаривать им не приходилось. И я уверен, в тех редких случаях, когда они выходили на люди, чтобы поесть в ресторане, папа с мамой обращались в тягостную чету, какие время от времени попадаются нам с тобой на глаза, — сидящую за столиком и жующую в полном молчании.

И тем не менее, встретив в тот сентябрьский день Машу, я вдруг подумал, что она может оказаться «той самой» — той, которую я никогда не искал. Сама случайность нашей встречи представлялась мне чудом. Да, меня влекло к ней физически, но дело было не только в этом. Может быть, просто-напросто пришло мое время, однако тогда мне казалось, что я прямо-таки вижу, как она варит мне кофе и волосы спадают ей на спину, укрытую махровым халатом; я представлял себе, как она спит рядом со мной в самолете,

упершись затылком в подголовник кресла. Если быть совсем уж откровенным с тобой, можно, пожалуй, сказать, что я «влюбился» в нее.

Сквозь открытые окна в кухню проникал запах тополей, вой сирены, звон бьющегося стекла. Какая-то часть меня желала, чтобы Маша стала моим будущим, какая-то хотела сделать то, что мне и следовало сделать, — выбросить билет с номером телефона в кухонное окно, в розовевший, наполненный обещаниями вечерний воздух.

Глава вторая

Я позвонил ей на следующий день. В России не в ходу напускная сдержанность, демонстрация липовой терпеливости, ложные фехтовальные выпады — разыгрываемые перед тем, как назначить свидание, военные игры, которым мы с тобой предавались в Лондоне, — да и в любом случае, я, боюсь, остановиться уже не мог. Я попал на ее голосовую почту и оставил номера моих телефонов — мобильного и рабочего.

Около трех недель о Маше не было ни слуху ни духу, и мне почти удалось перестать думать о ней. Почти. Работы у меня было, как и у всех западных юристов в Москве, выше головы, и это помогало. В Сибири бил из-под земли фонтан денег, а между тем накатывал и еще один денежный вал. Рождалось новое поколение российских конгломератов, лихорадочно рвавших друг друга на части, и иностранные банки ссужали им потребные для их приобретений миллиарды. Чтобы согласовать условия таковых, банкиры и российские бизнесмены приходили в наш офис: банкиры отличались отбеленными улыбками и

сорочками с отложными манжетами, нефтяные магнаты, бывшие гебисты, — толстыми шеями и тесноватыми костюмами. Мы же, оформляя ссуды, и себе отгрызали кусочек. Офис наш размещался в украшенной бойницами бежевой башне, что возвышается над Павелецкой площадью, — здании, так до конца и не обретшем того свидетельствующего о лощеном благополучии облика, какого старался достичь архитектор, но тем не менее становившемся в дневное время, время включенных кондиционеров, домом для половины всех работавших в Москве иностранцев. По другую сторону площади стоял Павелецкий вокзал, пристанище алкашей, лишившихся всего людей, детей, пристрастившихся нюхать клей, — несчастных, утративших все надежды, свалившихся с края российской пропасти. Вокзал и башня смотрели друг на друга через площадь, точно две несопоставимые по мощи армии перед битвой.

В офисе с недавних пор работала умненькая секретарша по имени Ольга, носившая плотно облегавший фигуру брючный костюм и родившаяся, я думаю, в Татарстане, — сейчас она наверняка управляет компанией, которая импортирует трубы или продает оптом губную помаду,

то есть обратилась в олицетворение новой российской мечты. У нее были бездонные карие глаза и фантастические скулы, и мы время от времени шутливо болтали о том, как я покажу ей Лондон, и о том, что она покажет за это мне.

Наконец, в середине октября, Маша позвонила, чтобы спросить своим хрипловатым голосом, не хочу ли я пообедать с ней и с Катей.

— С добрым утром, Николас, — сказала она. — Это Маша.

Она явно не считала, что ей следует объяснять, какая именно Маша, — и была права. Я почувствовал, как у меня краснеет шея.

— Здравствуйте, Маша, как вы?

— Все хорошо, спасибо, Николас. Скажите, пожалуйста, что вы делаете этим вечером?

Есть в них что-то странное — тебе не кажется? — в этих первых телефонных звонках, в разговорах с человеком, который совсем недавно поселился в твоей голове и о котором ты ничего толком не знаешь. В неловких мгновениях, которые могут стать поворотным пунктом твоей жизни, могут стать для тебя всем, а могут и ничем.

— Ничего, — ответил я.

— Тогда мы приглашаем вас на обед. Вы знаете такой ресторан — «Сказка Востока»?

«Сказку Востока» я знал. Китчевое кавказское заведение, стоявшее на нескольких огромных понтонах, заякоренных на реке напротив парка Горького, — в Лондоне мы от таких воротим нос, но в Москве они подразумевают прогулку по набережной, кавказское вино, красное и густое, ностальгические воспоминания твоих собеседников об отпусках советской эпохи, идиотические танцы и полную свободу Маша сказала, что столик у них заказан на восемь тридцать.

В тот же самый день, во второй его половине, — на сей раз сомнения относительно времени у меня отсутствуют — я познакомился с Казаком. В наш офис на десятом этаже «Павелецкой башни» он вошел, ухмыляясь.

Нам поручили представлять консорциум западных банков, дававший ссуду в пятьсот миллионов долларов, которую предстояло выплатить в три приема и возвратить в виде изрядного процента от полученной благодаря ей прибыли. Заемщиком было совместное предприятие, созданное предоставлявшей услуги материально-технического снабжения фирмой, о которой мы никогда не слышали, и «Народнефтью». (Возможно, ты читала о «Народнефти», гигантской государственной энергетической компании, поглотившей

активы, которые Кремль силой отнял у олигархов, используя сфабрикованные судебные иски и придуманные специально для такого случая налоговые требования.) Предприятие это намеревалось построить где-то в Баренцевом море плавучий нефтеналивной причал (географическая сторона проекта меня, честно говоря, особо не интересовала, — пока я не попал в те края). План состоял в том, чтобы поставить в море на прикол огромный танкер советских времен и протянуть к нему от берега трубы для перекачки нефти.

«Народнефть» готовилась выставить в Нью-Йорке на продажу большой пакет своих акций, а для этого требовалось, чтобы финансовое ее состояние выглядело благополучным. Поэтому правление компании, дабы убрать денежные обязательства по проекту из сводного баланса компании, подыскало партнера и учредило еще одну компанию, самостоятельную, которой и предстояло осуществить задуманное. Компанию, в чьем ведении оказался в итоге проект, зарегистрировали на британских Виргинских островах. А Казак был ее, так сказать, витринной фигурой.

По правде сказать, Казак мне понравился, во всяком случае, поначалу, — думаю, и он, в

определенном смысле, в *его* смысле, благоволил мне. В Казаке присутствовало нечто очень привлекательное — не то беззастенчивый гедонизм, не то пресыщенность бывалого бандита. Возможно, правильнее будет сказать, что я ему завидовал. Человеком он был невысоким — пять футов шесть дюймов, на пол фута ниже меня, — с челкой участника молодежной рок-группы, в костюме ценой в десять тысяч долларов и с улыбкой убийцы. Блеска в его глазах было ровно столько же, сколько угрозы. Из лифта он вышел с пустыми руками — ни кейса, ни бумаг, — и адвокат его не сопровождал, а сопровождал смахивавший на танк телохранитель с обритой головой, очень похожей на орудийную башню.

Я составил мандатное письмо — своего рода предварительный контракт, который Казаку предстояло подписать от имени его совместного предприятия. Копию письма мы двумя днями раньше отправили его юристам: основной банк соглашался предоставить необходимые деньги, подключив к их сбору, дабы распределить риск, несколько других банков, а Казак давал обязательство ни у кого больше денег не занимать. Мы провели его в комнату совещаний, отделенную стеклянными стенами от остального нашего

офиса. «Мы» — это я, мой босс Паоло и Сергей Борисович, один из тех молодых, но чрезвычайно толковых русских, что работали в нашем корпоративном отделе. Несмотря на скорое пятидесятилетие, обходительный Паоло оставался худощав (что, впрочем, не редкость для итальянцев средних лет), он был обладателем картинных седин — с одной стороны головы — и жены, от встреч с которой старательно уклонялся. Как-то утром, еще в начале девяностых, он проснулся в своей миланской квартире, собрал кой-какие притекавшие с Востока деньги и отправился им навстречу, оказавшись в Москве, да так здесь и остался.

Сергей Борисович был коротышкой, а лицо его походило на озадаченную картофелину. Английский свой он отполировал, обучаясь по межуниверситетскому обмену в Северной Каролине, однако первым местом его работы было MTVJ где он подцепил словечко, так и оставшееся у него любимым, — «экстрим».

Мы вручили Казаку документ. Он перевернул первую страницу, вернул ее назад, оттолкнул документ, откинулся на спинку кресла и надул щеки. Потом огляделся вокруг, словно ожидая, что сейчас здесь произойдет нечто занимательное

— стриптиз покажут или зарежут кого-нибудь. В окне десятого этажа помигивали за Москва-рекой золотые купола Новоспасского монастыря. И мы принялись рассказывать анекдоты.

Казак обладал чувством юмора, бывшим в некотором смысле родом боевого оружия. Смеясь над рассказанным им анекдотом, ты чувствовал себя виноватым, не смеясь — подвергающимся опасности. Если же он задавал вопросы личного свойства, они неизменно производили впечатление прелюдии к шантажу.

По его словам, он именно казаком и был — из Ставрополя, по-моему, в общем, из какой-то окрестности плодородных южных земель. Известно ли нам, кем были казаки? Их историческая миссия, объяснил он, состояла в том, чтобы держать в узде «черных», которые населяли одну из подмышек России. А не желаем ли мы скатать на север, на нефтяной причал, новое место его работы? Уж он показал бы нам, что такое казацкое гостеприимство.

— Когда-нибудь, может быть, и скатаем, — ответил Паоло.

Я же сказал, что у меня в Москве жена, она не захочет, чтобы я уезжал. Потому-то я и уверен, что знакомство с Казаком пришлось на тот же

день, что и обед с Машей и Катей: я запомнил эти слова, поскольку, произнося их, почувствовал, что лживы они лишь на три четверти, да и ложь эта, вполне возможно, лишь временная.

— Ну, — заметил Казак, — можно и двух жен заиметь — одну в Москве, другую в Арктике.

Он закурил, оскалив зубы, сигарету. Потом подмахнул, так и не прочитав, мандатное письмо. Мы проводили Казака с его телохранителем до лифта. Прощаясь с нами, он вдруг посерьезнел.

— Мужики, — сказал он, пожимая нам руки, — сегодня особенный день. Россия благодарит вас.

— В очередной раз свинью напомадили, — сказал, когда закрылись двери лифта, Паоло.

Так назывались у нас сделки с непредсказуемыми и неуправляемыми бизнесменами наподобие Казака, — сделки, которые (но это строго между нами) приносили нам в те дни половину наших доходов и которые даже нашим санирующим договоренностям, поручительствам и информационной открытости не удавалось избавить от дурного душка. Временами мы чувствовали себя замаранными, занимающимися чем-то вроде узаконенного отмывания денег. Я обычно говорил себе, что все это сделалось бы и без нас, что мы всего лишь посредники, что вовсе не мы

будем банкротить тех, кого русские надумали обанкротить с помощью этого займа. Наша работа — обеспечить своевременный возврат денег, потраченных нашими клиентами. Обычная для юриста увертка.

— Опять, — согласился я.

— Экстрим, — высказался Сергей Борисович.

Остаток дня я провел в состоянии оцепенелой рассеянности, нападающей на человека, когда ему предстоит пройти необходимое для устройства на работу собеседование или встретиться с врачом, от которого ничего хорошего ждать не приходится, — если с ним заговаривают, он кивает и автоматически отвечает, но ничего на самом деле не слышит. В такие дни каждая минута кажется столетием, времени впереди остается еще слишком много, а с последнего твоего взгляда на часы его проходит так мало. А под конец, когда ты вдруг разнервничаешься и захочешь отменить назначенное, время начинает лететь стремглав и ни на какие отмены его не остается. Около шести вечера я забежал домой, чтобы переодеться и навести порядок в ванной комнате — так, на всякий случай.

Глава третья

В то время, еще до того, как я начал сторониться его, мне доводилось видеться с моим соседом, Олегом Николаевичем, едва ли не каждый день. Обычно я, спускаясь или поднимаясь по лестнице, заставал Олега Николаевича стоявшим на лестничной площадке у двери его квартиры и притворявшимся, будто он меня вовсе и не ждет. Когда я только-только приехал в Москву и никого в ней не знал, разговоры с ним доставляли мне удовольствие. Он терпеливо сносил мой корявый русский язык и давал основательные советы насчет того, в какие районы города лучше не соваться. А потом, когда я уже пообжился в Москве, мне не составляло большого труда потрепаться с ним несколько минут. Я считал себя в долгу перед ним, да и разговоры у нас порой получались интересные.

Олег Николаевич жил один — если не считать его кота. Лицо моего соседа украшала белая эспаньолка, а уши поросли волосом. Как-то он сказал мне, что служит редактором в литературном журнале, однако я не питал уверенности в

том, что журнал этот и вправду еще существует. Олег Николаевич был одним из тех русских крабов, что стараются не покидать без особой на то необходимости океанское дно, знают, когда следует спрятаться, а когда просто затаиться, умеют держаться подальше от мест, где им могут причинить вред, и стараются не навредить себе сами. Одинокий, старый человек. Когда я вышел из квартиры, чтобы отправиться в «Сказку Востока», он переминался на своей площадке с ноги на ногу, шею его обвивал богемный шелковый платок.

— Добрый вечер, Николай Иванович, — поздоровался он. — Ну, как жизнь юридическая?

Именно этими словами Олег Николаевич всегда меня и приветствовал. Услышав, что отца моего зовут Иэном, он стал величать меня Николаем Ивановичем, как русского. В России принято, обращаясь к человеку, называть его по имени-отчеству — пока не сойдешься с ним совсем близко, — в разговорах же со стариками и начальством такое обращение обязательно. Никто больше меня подобным образом не величал, но мне это даже нравилось, поскольку подразумевало, что ко мне относятся как к своему, да к тому же и отдавало учтивостью стародавних

времен. Я ответил, что у меня все прекрасно, поинтересовался — как он.

— Нормально, — ответил Олег Николаевич.

Я попросил у него извинения, сказав, что очень спешу. Полагаю, причина моей спешки была очевидной. От меня разило лосьоном после бритья — тем же, каким я иногда пользуюсь и здесь, ты еще уверяешь, что пахнет он, совершенно как конская моча, — да и надел я в тот вечер отчасти ярковатую бирюзовую рубашку, в которой обычно появлялся на свадьбах.

— Николай Иванович! — произнес мой сосед, подняв перед собой волосистый палец. Я понял, что на подходе одна из его излюбленных русских поговорок. — Сыр бывает бесплатным лишь в мышеловке.

Из квартиры Олега Николаевича тянуло кошачьей шерстью, заплесневелой энциклопедией и лежалой колбасой, и запахи эти увязались за мной, пока я сбегал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

Стоит мне закрыть глаза, как весь тот вечер прокручивается перед ними, точно старая зернистая любительская кинопленка, отснятая в семидесятых годах.

Когда я вышел из дома, уже темнело, в холод-

ном воздухе стоял запах близкого дождя. Шагая к бульвару, я увидел оранжевые «Жигули», в которых сидели двое мужчин. Ребенок, покончив рисовать машину, таких наверняка не нарисовал бы. Я встретился с одним из них взглядом и сразу же отвел глаза в сторону как это делают и в Лондоне, и особенно в Москве, где вечно видишь в подворотнях, на автостоянках, в подземных переходах то, что тебе лучше не видеть. Я торопливо шагал к углу, собираясь поймать машину. Водитель не то второй, не то третьей затормозил, заметив мою вытянутую руку. (Машиной я так в России и не обзавелся. Паоло, сразу после моего приезда в Москву, сказал, что я должен усесться за руль как можно скорее, потому что, стоит мне потянуть время и успеть познакомиться с анархией и льдом на дорогах и с нравами здешней дорожной милиции, я не сделаю этого никогда, — и оказался прав. Впрочем, частная система извоза в Москве на удивление безопасна, необходимо лишь соблюдать два правила: не залезать в машину, если рядом с водителем уже кто-то сидит, и не залезать ни под каким видом, если водитель еще пьянее, чем ты.)

Вез меня в тот вечер грузин, насколько я понял. К приборной доске его машины были прилепле-

ны две иконки Богоматери, всегда внушавшие мне двойное чувство — безопасности и уязвимости одновременно. Вероятность того, что мне перережут горло, иконки понижали, но говорили также, что я доверил мою жизнь человеку, который полагает, будто поглядывать в зеркальце и не забывать о тормозах — дело скорее Господа, чем его. Я потянулся к ремню безопасности и тут же получил серьезное предупреждение о том, насколько опасна эта штуковина, а следом — уверения водителя насчет того, что дело свое он знает. Водитель сбежал в Россию от одной из грязных маленьких войн, сотрясавших Кавказ после распада Империи Зла, — войн, о которых я и не слышал, пока не начал ездить по Москве на такси и в частных машинах. О *его* войне он принялся рассказывать мне, как только мы нырнули в туннель под целодневной пробкой Нового Арбата (широкой, брутального облика авеню, вдоль которой плечом к плечу стоят бутики и казино), потом прибавил, минуя памятник Гоголю, ходу. Когда мы доехали до станции метро «Кропоткинская», до реки и копии огромного собора, наспех возведенной в девяностых, он уже вовсю размахивал, забыв о руле, руками и гримасничал, рассказывая, что проделывал кто-то с

различными частями тела кого-то еще.

В конце концов он вырулил на набережную. Я дал ему, как мы и договорились, сто рублей, добавив к ним чрезмерные чаевые — еще пятьдесят, и перебежал через улицу к речной ее стороне. Сквозь морось уже пошедшего дождя различались за черной рекой, в парке Горького, белый космический шаттл и шаткие американские горки. А спускаясь по сходням к плавучему ресторану, я увидел, помню, мужчину в плавках, выбиравшегося из воды на соседний понтон.

Внутри ресторана стоял обычный гомон, здесь каждый пытался перекричать каждого. Музыканты в аляповато ярких национальных костюмах играли песню Синатры, сообщая ей отчетливый азербайджанский оттенок. Я остановил официантку, начал было объяснять ей, что у меня здесь назначена встреча, но тут же сообразил: на какое имя Маша заказала столик, мне неизвестно, я не знаю даже, и вправду ли она — Маша, и подумал: «Зачем я здесь, в этой сумасшедшей стране, зачем напялил бирюзовую рубашку? Стар я для этих штук, мне тридцать восемь лет, и родом я из Луттона». Но тут я увидел девушек, махавших мне руками с дальнего, оформленного под средневековый галеон, конца ресторана. Когда я зигзагами

приблизился к ним, они поднялись из-за столика, приветствуя меня.

— Здравствуйте, Николас, — по-английски сказала Катя.

Контраст этот неизменно сбивал меня с толку. Голос у нее был, как у школьницы или героини мультфильма, но в то же время я не мог не замечать ее длинные ноги в белых кожаных сапогах, обнаженные от колен до подола короткой плиссированной юбки, какую можно увидеть на капитане команды пританцовывающих болельщиц или на официантке одного из ресторанов сети «Хутерс». Светлые волосы спадали Кате на плечи. Я знаю, множеству мужчин она показалась бы бесконечно привлекательной, но для меня оставалась несколько слишком юной, слишком очевидной. Она все еще проверяла свои чары — походку, волосы, изгибы тела, — все еще пыталась понять, как далеко могут они ее завести.

— Здравствуйте, Николай, — сказала Маша. Сегодня на ней была мини-юбка, почти такая же по цвету, как моя рубашка, и сравнительно скромный черный джемпер. Губная помада, тушь для ресниц, однако размалеванной, как некоторые из здешних женщин, она не казалась. Кроваво-красные ногти.

Я сел напротив девушек. Стол за моей спиной занимали горластые бизнесмены, их было с полдюжины, а с ними семь-восемь девушек, достаточно юных, чтобы приходиться им дочерьми, но не приходившихся.

Говорить нам, понятное дело, было особенно не о чем.

Мы дольше, чем требовалось, изучали меню, пожирающие время списки блюд и соусов (против названия каждого располагались две колонки цифр: цены и, как в большинстве московских ресторанов, вес ингредиентов — упреждающая деталь, предположительно способная убедить клиента в том, что его не обдирают как липку). Помню, глаза мои невольно перебегали к ценам «Шашлыка по-царски» и «Морского сюрприза». Одинокая жизнь способна сделать бережливым даже того, кто купается в деньгах.

— Так что, Коля, — наконец произнесла Маша — по-английски, но прибегнув к жантильному русскому уменьшительному, — зачем вы приехали в нашу Россию?

— Давайте говорить по-русски, — предложил я. — По-моему, так будет проще.

— Ну пожалуйста, — попросила Катя. — Нам нужно практиковаться в английском.

— Хорошо, — сдался я. Я пришел в «Сказку Востока» не для того, чтобы препираться с этими девушками. И с той минуты мы говорили преимущественно на английском, переходя на русский, лишь когда того требовало общение с их соотечественниками.

— Так, — произнесла по-русски Катя. И затем по-английски: — Так. Почему Россия?

Я дал ответ, не требовавший пояснений, — я всегда отвечал на этот вопрос одинаково:

— В поисках приключений.

На самом деле это была неправда. Причина моего приезда в Россию состояла в том, что, дожив до тридцати с небольшим лет, я вступил в пору разочарований, в пору, когда энергия и честолюбие стали ослабевать во мне, а друзья родителей умирать. В пору вопроса: «И это все?» Мои женатые лондонские знакомые начали разводиться, неженатые — заводить кошек. Люди вокруг меня принимались бегать марафоны или обращались в буддистов — и то и другое позволяло им как-то пережить это трудное время. Для тебя, сколько я понимаю, средством такого рода стали семинары неких сомнительных евангелистов, о которых ты мне рассказывала и на которых побывала пару раз перед тем, как мы познакомились. Правда же

состоит в том, что моя фирма попросила меня поработать в Москве — всего один год, сказали мне, ну, может быть, два. И намекнули, что это станет для меня кратчайшим путем к положению партнера. Я ответил согласием и сбежал из Лондона, сбежал от мыслей о том, что я больше не молод.

Девушки улыбались.

Я сказал:

— Моя компания попросила меня поработать в московском офисе. Для меня это было хорошей возможностью. А кроме того, — прибавил я, — мне всегда хотелось увидеть Россию. Мой дедушка бывал здесь во время войны.

Это, как ты знаешь, правда. Дедушку я знал мало, однако, когда я был маленьким, его военное прошлое то и дело упоминалось в наших семейных разговорах.

— А где служил ваш дедушка? — поинтересовалась Маша. — Он был шпионом?

— Нет, — ответил я. — Моряком. Служил в конвоях — знаете, на кораблях, которые доставляли из Англии в Россию всякого рода припасы. Они ходили в Арктику. В Архангельск. В Мурманск.

Маша, склонившись над столом, что-то прошептала Кате, — переводит, решил я.

— Правда? — сказала она. — Вы не шутите? Он

действительно бывал в Мурманске?

— Да. И не один раз. Ему везло. Его корабль ни разу не подбили. Думаю, деду хотелось побывать в России и после войны. Однако в советские времена это было невозможно. Я знаю все это со слов отца — дедушка умер, когда я был маленьким.

— Нам это очень интересно, — сказала Катя. — Потому что мы как раз оттуда. Родились в Мурманске.

Подходит, чтобы принять у нас заказы, официант. Девушки просят принести им по шашлыку из осетрины. Я заказываю баранину, азербайджанские, начиненные сыром и травами, лепешки, рулетики из баклажанов с толченым грецким орехом внутри, гранатовый соус и полбутылки водки.

То, что мой дед побывал в их родном городе, показалось мне тогда многозначительным совпадением или своего рода ключом к чему-то важному. Я спросил, как оказалась там их семья. Я знал, что Мурманск был одним из закрытых военных городов, попасть в которые человек мог, лишь если у него имелась на то серьезная причина, — или если у кого-то еще имелась причина отправить его туда.

Маша посмотрела мне в глаза и постукала себя

по плечу кончиками красных ногтей. Я понимал: мне следует сказать или сделать что-то в ответ, но не знал что. И, прождав несколько секунд, повторил ее жест. Девушки засмеялись: Маша откинув голову назад, Катя — издавая приглушенное, смущенное хихиканье из тех, что в школьные времена спасают человека от неприятностей, если смех нападает на него посреди урока.

— Нет, — сказала Маша. — Как они называются, эти штуки, которые носят военные?

— Эполеты? — подсказал я.

— Когда русские делают так, — пояснила она, снова постучав себя по плечу, — это означает, что речь идет о человеке, который служит в армии, или в полиции, или в чем-то вроде этого.

— Ваш отец?

— Да. Он был моряком. И его отец тоже. Как ваш дедушка.

— Верно, — подхватила Катя. — Наш дед служил в охране конвоев. Может быть, он даже был знаком с вашим.

— Может быть, — согласился я.

Мы улыбались друг дружке. Нервно поерзывали в креслах. Я посматривал на Машу, однако, встречаясь с ней взглядом, всякий раз отводил глаза в сторону — обычная для первого свидания

игра в кошки-мышки. В запотевшем окне за спинами девушек едва-едва различались за рекой, которую уже вовсю сек дождь, пустые дорожки парка, Крымский мост, а за ним подсвеченный огромный, нелепый памятник Петру Великому, нависающий над рекой рядом с шоколадной фабрикой «Красный Октябрь».

Я задал девушкам несколько вопросов об их мурманском детстве. Конечно, там было трудно, сказала Маша. Мурманск — не Москва. Зато летом в нем светло круглые сутки, можно гулять среди ночи по лесу.

— И вот такое у нас тоже было! — сообщила Катя, указав на возвышающееся над парком Горького колесо обозрения. Она снова улыбнулась и показалась мне невинной, простодушной девушкой, полагающей, что колесо обозрения — это самый что ни на есть Диснейленд.

— Правда, оно было слишком дорогим, — сказала Маша. — Не очень-то покатаешься. Когда я была маленькой — в восьмидесятых, при Горбачеве, — то могла лишь любоваться им. Оно казалось мне таким прекрасным.

— А почему вы уехали оттуда? — спросил я. — Почему перебрались в Москву?

Я полагал, что ответ мне уже известен. Русские

девушки из провинции по большей части приезжали в столицу с деньгами, достаточными лишь для того, чтобы прилично выглядеть в течение двух недель, каковые они проводили, ночуя у каких-нибудь знакомых — на полу — и подыскивая работу или, в идеале, мужчину, способного перенести их в другую жизнь — за железные, под электрическим током, ограды «элитного» Рублевского шоссе. Или же, если мужчина уже женат, способного поселить девушку в квартире, расположенной на одной из улочек близ Патриарших прудов, — это такой московский Хэмпстед, только единиц автоматического оружия тут гораздо больше, чем в настоящем, — посещать ее там раза два в неделю и оставить ей эту квартиру, когда девушка ему надоест. В те дни доведенные до отчаяния длинноногие девушки стали вторым после нефти основным национальным продуктом России. Их можно было заказывать через Интернет, сидя в Лидсе или Миннеаполисе.

— Семейные обстоятельства, — ответила Маша.

— Родители в Москву переехали?

— Нет, — сказала Маша. — Родители остались в Мурманске. А вот мне пришлось уехать.

Она произвела еще один жест — подняла руку

и пощелкала себя пальцами по белой шее, — и *этот я* понял: пьянство. Общероссийское его обозначение.

— Ваш отец?

— Да.

Я представил себе скандалы, происходившие там, в Мурманске, слезы, зарплаты, пропивавшиеся в загулах, которые начинались прямо в дни получек, и маленьких девочек, прятавшихся в своей комнате и мечтавших о большом колесе, покататься на котором им не на что.

— Теперь, — сказала Маша, — в живых осталась одна только мама.

Я не знал, стоит мне выразить соболезнование или не стоит.

— Но у нас и в Москве есть родня, — сказала Катя.

— Да, — подтвердила Маша, — мы не одни в Москве. У нас есть тетушка. Может быть, мы вас с ней познакомим. Она старая коммунистка. Думаю, вам будет интересно.

— Был бы очень рад, — сказал я.

— В Мурманске, — продолжала Маша, — у нас почти не было знакомых. А Москва научила нас всему. Всему хорошему. И всему плохому.

Заказ нам принесли весь сразу, как это принято

в кавказских ресторанах, ни в грош не ставящих медлительность наслаждения, подразумеваемую концепцией начального и основного блюд. Мы приступили к еде. Сидевшие за моей спиной бизнесмены уже насытились и теперь тискали своих спутниц — отнюдь не украдкой. Над столом нависало облако табачного дыма. Думаю, эти мужики курили даже под душем.

Я спросил, где живут Маша и Катя. Они ответили, что снимают квартиру на Ленинградском проспекте — давящейся машинами магистрали, которая идет к Шереметьеву, а оттуда дальше на север. Я спросил у Маши, нравится ли ей работа в магазине мобильных телефонов.

— Работа как работа, — ответила Маша. — Не всегда интересная.

Она улыбнулась — коротко и саркастично.

— А чем занимаетесь вы, Катя?

— Учусь в МГУ — ответила она.

Московский государственный университет — это российский вариант Оксфорда, только для поступления в него нужно дать взятку — и еще одну, чтобы защитить диплом.

— Бизнес-менеджмент.

Я показал, как то и ожидалось, что услышанное произвело на меня сильное впечатление. Затем

начал было рассказывать о моей учебе в Бирмингеме, но Маша перебила меня.

— Пойдем потанцуем, — предложила она.

Оркестрик играл — в замедленном темпе — *«I Will Survive»*[2] и звучал при этом совершенно как кавказский похоронный оркестр, только-только присоединившийся к хору плакальщиков. Кроме нас танцевала всего одна пара — возбужденная девочка и ее подвыпивший «папик», которого она вытащила к самой эстраде. Маша с Катей извивались, рывками выбрасывая бедра вперед и назад, — то был стремительный разлив поддельного лесбиянства, коего требовал тогдашний этикет московских танцулек: раскованность, на какую способны лишь люди, которым нечего терять. В Маше присутствовало еще одно нравившееся мне качество: она умела жить одним мгновением, отрывая его от прошлого и будущего, чтобы стать в нем счастливой.

Я же шаркал по полу ногами и подергивался, перешел было на твист, но быстро понял, что переоценил свои силы (я знаю, мне придется взять несколько уроков перед тем, как мы исполним наш свадебный танец, — не забыл, не думай). Ма-

---

[2] Примечания: 2

«Я выживу» — знаменитая песня Глории Гейнор (1978). — *Здесь и далее примеч. перев.*

ша схватила меня за руку, и несколько минут мы протанцевали, запинаясь, вдвоем, — желавших поплясать скопилось вокруг нас уже немало, и я прижимался к Маше, прикрывая ее моим телом. Когда песня закончилась и мы смогли вернуться к нашему столику, я испытал облегчение.

— Вы прекрасно танцуете, — сказала Катя и рассмеялась вместе с Машей.

— За женщин! — сказал я. То был стандартный русский тост, а поскольку в России разрешается пить и тому, за кого поднимают бокалы, девушки звонко чокнулись своими стопочками с моей.

Какие у них были намерения, я все еще не знал, — если у них вообще имелись намерения, а не одно лишь любопытство и желание посидеть в ресторане за чужой счет. Основные события разворачиваются в Москве после третьего свидания, как и у нас, в Лондоне, — да, полагаю, и на Марсе тоже, — ну, может быть, после второго, если на дворе стоит лето. И куда, интересно, мы денем Катю?

— Не хотите посмотреть наши снимки? — спросила Маша.

Она кивнула Кате, и та извлекла на свет мобильный телефон. Русские девушки любят снимать друг дружку — думаю, это связано с новизной

компактных камер и с мыслью, что, раз их фотографируют, они что-нибудь да значат.

— Мы их в Одессе сделали, — сообщила Маша.

Они побывали там в начале лета, пояснили девушки. Видимо, родственники имелись у них и в этом городе. Похоже, родственники в Одессе (этакой помеси Тенерифе с Палермо) есть почти у каждого.

Мы склонились над столом, и Катя устроила для нас слайд-шоу на крошечном экранчике ее телефона. На первом снимке они сидели в баре еще с одной девушкой. Катя смотрела в сторону от камеры и смеялась — вероятно, шутке, произнесенной кем-то, кто в кадр не попал. На втором Маша и Катя стояли в купальниках на пляже, прижавшись друг к дружке, а за спинами их возвышалось подобие египетской пирамиды. На третьем — одна Маша. Она сфотографировала свое отражение в зеркале платяного шкафа: стояла, упершись одной рукой в бедро, а другой держа перед собой телефон, который заслонял четвертую часть ее лица. В зеркале было видно, что, кроме красных купальных трусиков, на Маше нет ничего.

Я откинулся на спинку кресла и спросил, не желают ли они поехать ко мне, выпить чаю.

Маша твердо взглянула мне в глаза и ответила: «Желаем».

Я помахал рукой официанту, расписался в воздухе воображаемым пером — международный жест, означающий: «выпустите-меня-отсюда». В отрочестве ты видишь, как его производят твои родители, и обещаешь себе никогда так не делать.

Ко времени нашего ухода из ресторана на улице похолодало. Проведя в России три зимы, я знал: это серьезно — пришел настоящий холод, ледяной воздух, который таким до апреля и останется. Белый дым, поднимавшийся из труб стоявшей ниже по течению электростанции, казалось, замерзал в темном ночном воздухе. Дождь продолжался, капли, стекавшие по стеклам моих очков, размывали все, что я видел, усугубляя фантастичность этих картин. На Маше было все то же пальтишко с кошачьим воротником, на Кате — пурпурный пластиковый плащ.

Я выбросил вперед руку, и машина, уже отъехавшая от нас метров на двадцать, затормозила, сдала назад и остановилась у бордюра. Водитель запросил двести рублей, я, хоть это и был грабеж на большой дороге, согласился и сел рядом с ним. Водитель оказался русским — усатым,

толстым и явно чем-то обиженным; ветровое стекло машины рассекала трещина, которую, судя по ее виду, могла создать его голова, а могла и пуля. На приборной доске стоял миниатюрный, подключенный на живую нитку к гнезду электрозажигалки телевизор, который показывал, пока мы ехали вдоль реки, бразильскую мыльную оперу. Впереди подрагивали в воздухе звезды кремлевских башен, за ними — сказочные купола замыкающего Красную площадь храма Василия Блаженного, а бок о бок с нами текла, загадочно изгибаясь и прорезая одичалый город, выглядевшая совершенно нереальной Москва-река. За моей спиной шептались о чем-то Маша с Катей. Машина толстого русского была раем на колесах, десятиминутным парадизом ослепительной надежды.

Внимательно приглядевшись к потолку моего жилья, можно было различить целую сеть пересекающихся бороздок, которые рассказывали историю квартиры — так же, как кольца пня рассказывают историю дерева, а морщины на лице поэта — историю его жизни. Когда-то она была «коммуналкой», в которой жили — вместе, но обособленно — три не то четыре семьи. Я часто пытался представить себе, как в ней

умирали люди и как их затем обнаруживали соседи, — или как они умирали и долгое время никто их не обнаруживал. Подобно миллионам других россиян, они, наверное, снимали с вбитого в стену гвоздя — когда заходили в уборную «по большому делу» — персональные сиденья для унитаза, ругались из-за убежавшего на общей кухне молока, строчили друг на друга доносы и спасали друг друга. Затем, в девяностых, кто-то снес разделявшие комнаты перегородки и обратил квартиру в жилище, предназначенное для богача, а от прошлой ее жизни остались только вот эти линии на потолке, показывающие, где с ним встречались стены. Спален здесь теперь было лишь две — одна для гостей, коих у меня почти не бывало, — и мрачное прошлое квартиры плюс везение, благодаря которому я ее получил, порождали во мне — по крайней мере, поначалу — чувство вины.

Девушки сняли, как это принято у русских, обувь в прихожей, мы прошли на кухню. Маша уселась мне на колени, поцеловала меня. Губы ее были холодными и сильными. Я оглянулся на Катю — та улыбалась. Я понимал: девушки принимают меня за кого-то другого, однако в квартире моей не было ничего, что я хотел бы

сохранить сильнее, чем хотел сейчас Машу, а в то, что они способны перерезать мне горло, я не верил. И вскоре Маша взяла меня за руку и повела в спальню.

Я подошел к окну, задернул шторы — темно-коричневые, с рюшами, они создавали, сдвинутые, впечатление, что за ними кроется театральная сцена, — а обернувшись, увидел, что Маша уже стянула с себя джемпер и сидит на краю моей кровати в короткой юбочке и черном лифчике. Катя, по-прежнему улыбавшаяся, устроилась здесь же, в кресле. Впоследствии она этого никогда больше не делала, однако всю ту ночь так в кресле и просидела, — может быть, охраняя Машу, не знаю. Ненормальность ее поведения поначалу немного мешала мне, но ведь и все происходившее выглядело нереальным, да и выпитая мной водка притупляла мои реакции.

На английских девушек Маша нисколько не походила. И на тебя тоже. Да собственно, и на меня. Менее сдержанная в постели, она не притворялась, не пыталась играть какую-то роль. Она излучала примитивную грубую энергию, захватывающую, вдохновляющую, веселую, жаждала и радовать, и импровизировать. А стоило мне оторваться от нее, как взгляд мой натыкался

на ухмылявшуюся Катю, сидевшую так близко, что я хорошо видел ее даже без очков, — полностью одетую и словно бы наблюдавшую за ходом научного эксперимента.

Потом, когда мы уже просто лежали, обнявшись, Маша, тяжело дышавшая, не бодрствовавшая, но и не вполне заснувшая, отбросила, точно сломанную игрушку, мою руку, перекинутую через нее и сжимавшую ее ладонь, — отбросила, может быть, для того, чтобы я покрепче притиснул ее к себе, или из желания доказать, что случившееся и я реальны, что и я, и моя рука нужны ей. Так мне, во всяком случае, подумалось тогда. На другом конце кровати, находившемся, казалось, во многих милях от нас, белая нога Маши обвила мою, и я почувствовал, хорошо помню это, как ее накрашенные ногти вонзились в мою икру.

Когда утром в спальню стал пробиваться свет, я, проснувшись, увидел спавшую все в том же кресле, опершись подбородком о колени, так ничего с себя и не снявшую Катю, светлые волосы закрывали ее лицо, точно вуаль. Маша лежала рядом со мной, спиной ко мне, *ее* волосы рассыпались по моей подушке, кожа моя пропиталась ее запахом. Я снова заснул, а когда проснулся окончательно,

девушек в квартире уже не было — они ушли.

Глава четвертая

— Здесь, — сказала Маша.

Мы стояли перед классическим зданием старой Москвы — потрескавшийся, пастельного тона фасад и просторный двор, в котором господа держали некогда своих лошадей и склочничавших слуг. Теперь во дворе стояли лишь пара сиротливых, ронявших бурые листья деревьев да три-четыре автомобиля, достаточно стильных, чтобы все понимали: среди жильцов есть люди со средствами. Мы прошли сквозь арочную подворотню и направились в дальний левый угол двора, к железной двери со стареньким переговорным устройством. Влажный воздух наполняло нечто, не бывшее ни дождем, ни снегом, — отдающая выхлопными газами российская сырость, которая выедает глаза и забивается в легкие. В такую погоду ты смотришь на небо и хочешь лишь одного: чтобы все поскорее закончилось, — как приговоренный к казни, поглядывающий на нож гильотины.

Маша набрала номер квартиры. Пауза, хриплый звонок. Женский голос произнес:

— Да?

— Это мы, — по-русски сообщила Маша. — Маша, Катя и Николай.

— Поднимайтесь, — сказал голос.

Дверь с гудением отперлась, мы начали подниматься по мраморной лестнице.

— Когда-то она была коммунисткой, — сказала Маша, — но, думаю, теперь уже нет.

— У нее временами память отказывает, — прибавила Катя, — но она очень добрая.

— Мне кажется, она не очень нам рада, — сказала Маша. — Ну посмотрим.

Она ожидала нас на лестничной площадке. Миниатюрная, с нередкой у русских старух фигурой толкательницы ядра и лицом, выглядевшим заметно моложе ее седых волос, которые она по прагматичному советскому обыкновению стригла, как это здесь называется, «под горшок». Черные ботинки на шнуровке, светло-коричневые чулки, опрятная, но изрядно поношенная шерстяная юбка и кардиган, прямо говоривший: денег у нас не водится. Ко всему этому — умные глаза и хорошая улыбка.

— Милая, — произнесла Маша, — это Николай…

Я понял, что она сообразила вдруг: фамилия моя ей неизвестна. По-моему, то была всего лишь

четвертая наша встреча, если не считать знакомства в метро. В сущности, мы тогда были чужими друг другу, а может, не только тогда — всегда. Однако в то время знакомство с ее тетушкой представлялось мне правильным шагом. Меня не покидало чувство, что отношения наши могут оказаться долгими.

— Платт, — представился я и, пока мы обменивались рукопожатиями, прибавил, тоже по-русски: — Очень рад знакомству.

— Входите, — сказала, улыбаясь, старушка.

Боюсь, я немного забежал вперед. Просто мне хотелось рассказать тебе, как я познакомился с ней — с Татьяной Владимировной.

В те дни золотой лихорадки, когда половину домов в центре столицы укрывали щиты с рекламой «Ролекса», приближавшиеся по размерам к подводной лодке, а цены на квартиры в сталинских, похожих на свадебные торты, высотках приближались к найтсбриджским, деньги, ходившие по Москве, приобрели собственные, особые привычки. Они знали, что кто-то из сидящих в Кремле людей может отобрать их в любую минуту. Они не отдыхали за чашечкой кофе или на прогулке, катаясь по Гайд-парку в трехколесной повозке, как то делают деньги лондонские.

Московские деньги норовили эмигрировать на Каймановы острова, в виллы Кап-Ферра или еще куда-нибудь, где их ждет уютный дом и никто к ним не полезет с вопросами. Либо прожигались, по возможности помпезно, — топились в заполненных шампанским джакузи, летали в личных вертолетах. В особенности любили деньги заглядывать в богатые автосалоны, выстроившиеся вдоль Кутузовского проспекта на пути к Парку Победы и музею Великой Отечественной войны. Они украшали свои «мерсы» и армированные «хаммеры» синими мигалками, которые раздавались (тысяч за тридцать долларов или около того) услужливыми чиновниками Министерства внутренних дел, — огнями, которые прорезали московские пробки, точно евреи море Египетское. Эти машины стекались к ресторанам и ночным клубам, в которых владельцам денег непременно следовало «засветиться», и стояли там, точно хищники, нежащиеся под солнышком у водопоя, пока сами деньги, засев в этих заведениях, объедались икрой и опивались шампанским «Кристалл».

В конце холодного октября, в пятницу вечером, — недели за две, за три до моего знакомства с Татьяной Владимировной у двери ее квартиры и,

по-моему, через столько же примерно недель после первой ночи, проведенной мной с Машей, — я повел девушек в «Распутин». Этот ночной клуб считался в то время одним из самых элитных и стоял на углу между садом «Эрмитаж» и милицейским управлением на Петровке (именно здесь снималась русская версия фильма *«Crime Stopper»* — множество трупов и поставленные со знанием дела перестрелки). Правильнее сказать — попытался сводить их туда.

Лавируя между гордо выставленными напоказ автомобильными монстрами, мы подошли к дверям клуба. Двери охранялись представителями того, что москвичи называют «фейс-контроль», — двумя-тремя вышибалами ростом с Гималаи и надменной блондинкой в наушниках с микрофоном. Работа блондинки состояла в том, чтобы не допускать в клуб недостаточно гламурных девиц и недостаточно денежных мужчин. Блондинка, как это принято у русских женщин, окинула моих девушек взглядом, откровенно оценивавшим их конкурентоспособность. Катя надела в тот вечер мини-юбку «под леопарда», Маша, сколько я помню, соорудила из своих длинных волос подобие встрепанной гривы, а на руке ее красовалась серебряная браслетка с часиками в

форме сердца. Думаю, не пропустили нас по моей вине. Не желая выделяться в толпе мафиози, я облачился в мой темный офисный костюм и черную рубашку и выглядел, надо полагать, как хорист из школьной постановки мюзикла «Парни и куколки». Я видел, что блондинка прикидывает, сколько хлопот я могу доставить, если меня разозлить, оценивает серьезность моей «крыши» — принадлежащего, предпочтительно, к какой-нибудь из служб безопасности покровителя, в коем нуждается каждый русский, желающий увильнуть от неприятностей и попасть в число тех, кто платит низкие налоги, или — в пятницу вечером — в клуб «Распутин». Каждый, кому хочется преуспеть, — от рыночного торговца, заимевшего приятеля-милиционера, который в нужный момент смотрит в другую сторону, до олигарха с его услужливым кремлевским покровителем — нуждается в «крыше»: в ком-то, кто внимательно выслушает его и даст кому следует по рукам, — в родственнике, быть может, или старом друге, или просто обладающем изрядной властью человеке, о коем олигарх знает, на свое счастье, нечто компрометирующее. Блондинка прошептала что-то одному из вышибал, и тот отвел нас на угол, к стоявшей за веревочным

ограждением очереди отвергнутых. Может, сказал он, вас и впустят попозже, — то есть если «чистой публики» вдруг окажется маловато.

Шел снег — легкий, октябрьский, «мокрый снег», как называют его русские, оседавший на любой гостеприимной поверхности от ветвей деревьев до крыш автомобилей, но таявший на негостеприимных московских тротуарах. Некоторые из снежинок, не успевавшие спуститься так низко, подхватывались, пролетая вблизи уличных фонарей, восходящими потоками воздуха и принимались кружить в их свете, словно передумав падать на землю.

Было холодно — не так чтобы очень, пока еще нет, но близко к нулю. Стоявшие в очереди отверженные втягивали руки поглубже в рукава, приобретая сходство с ампутантами. Вышибалы без разговоров впускали в клуб всякого рода гангстеров, свободных от дежурства полковников секретной службы и среднего уровня чиновников Министерства финансов — за каждым из этих людей следовал на высоких каблуках личный гарем. Я был зол, смущен, мне хотелось махнуть на все рукой и уйти. Тут-то и появился Казак.

Его сопровождали двое-трое мужчин и четверка долговязых девиц. Я окликнул его, он

приотстал от друзей, и те ушли за бархатную завесу двери. Это было одно из мгновений, когда различные, вроде бы и чуждые одна другой части твоей жизни сходятся воедино, — миг, когда ты натыкаешься, к примеру, на своего босса в фойе кинотеатра или в раздевалке плавательного бассейна.

— Добрый вечер, — сказал он, обращаясь ко мне, но глядя на девушек. — Недурственно.

— Добрый вечер, — ответил я.

С Казаком я виделся всего пару дней назад — он приезжал на Павелецкую, чтобы подписать кое-какие документы, надавать обещаний и порыгать. Казак одобрил кандидатуру выбранного нами инспектора, которому предстояло раз в несколько недель посещать строительство нефтяного причала, дабы удостовериться, что оно идет по графику. Это позволяло нам питать уверенность в том, что сроки возвращения денег будут соблюдены, — или что банкам будет на что наложить лапу, если Казак и его друзья обязательств своих не выполнят, — соответствующая процедура была подробнейшим образом расписана в подготовленном нами контракте. Инспектором, которого мы представили Казаку, был маленький, похожий на крота человечек по

имени Вячеслав Александрович. Мы уже работали с ним, когда финансировали строительство порта на черноморском побережье.

— Не хотите нас познакомить?

— Простите, — сказал я. — Это мои друзья, Маша и Катя.

— *Enchanté*,[3] — сказал Казак. — И кто же из вас жена Николаса?

Услышав от меня, что я женат, он мгновенно понял, что я вру, но, похоже, это не вызвало у него никаких возражений. Я покраснел. Катя хихикнула. Маша протянула Казаку руку. Насколько мне известно, то была первая и последняя их встреча, и меня она по-своему радует — сейчас. Воспоминания о Маше и Казаке, стоящих бок о бок, почему-то многое для меня упрощают.

— У вас какие-то сложности? — спросил Казак.

— Нет, — ответил я.

— Да, — поправила меня Маша. Она всегда оставалась спокойной, решительной, уверенной в себе. Всегда. И это мне тоже в ней нравилось.

— Возможно, — согласился я.

— Секундочку, — сказал Казак.

Он подошел к блондинке с телефонной гарни-

---

[3] Примечания: 3
Очень рад *(фр.)*.

турой. Стоял он спиной к нам, и лица его я не видел. Но увидел, как он повел плечом в нашу сторону, и блондинка сразу же взглянула на нас. Казак продолжал говорить что-то, лицо ее все вытягивалось, и, наконец, она опустила голову, произнесла в микрофон несколько слов и поманила нас к себе.

— Веселитесь! — сказал Казак.

Ты знаешь, наверное, как иногда показывают в боевиках солдат, за которыми наблюдают через прибор ночного видения, — их окружает мерцающий ореол теплового свечения. Вот и Казак выглядел так же — причем постоянно. Его окружал ореол насилия. Незримый, но внятный каждому.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что, — ответил Казак.

Мы пожали друг другу руки, он задержал мою в своей чуть дольше, чем следовало, — на пару секунд, быть может, но я успел понять, что противопоставить ему мне нечего.

— Привет моему другу Паоло, — сказал он.

Войдя в клуб, мы увидели танцпол с подиумом, на котором приплясывали трое: две крепкие черные девицы с обнаженными грудями, а между ними лилипут в тигровой расцветки трусиках.

Катя указала мне на потолок. Под ним колыхалась парочка голых, обрызганных золотой краской девушек с прикрепленными к их спинам крыльями. Мы направились к бару со стеклянным полом. Им служила крыша аквариума, в котором плавало изрядное количество осетров и две приунывшие акулы. Бар заполняли бесценные женщины и опасные мужчины.

Я заказал три «мохито» плюс три порции сомнительного по качеству суши, бывшего в то время стандартным блюдом всех ночных заведений Москвы. На лице у бармена застыло выражение человека, которому недоплачивают и который, того и гляди, упадет от усталости — такое появляется шумными ночами на лицах всех барменов нашей планеты. — Я ощущал себя так, точно выиграл в лотерею и сижу теперь в «Распутине» среди играющих по крупному людей и их хирургическим путем усовершенствованных куколок, — я, с моей бессмысленной густой шевелюрой, узкой английской физиономией и вторым подбородком тридцатилетнего с лишком человека, который я каждое утро вижу в зеркале, всякий раз заново проникаясь надеждой, что он возьмет да и денется куда-нибудь сам собой. Ощущал себя Личностью, а не пустым местом, которое как раз в

это время тащится по Лондонскому мосту в толпе таких же, как он, ничтожеств. Наверное, именно этого чувства от меня и ожидали.

Катя снова принялась задавать вопросы об Англии. Обычные. Существовал ли на самом деле Шерлок Холмс? Трудно ли получить въездную визу? Почему Черчилль тянул со вторым фронтом до 1944 года? Думаю, она была хорошей девочкой — уважительно относившейся к сестре, старавшейся не соступать в своей мини-юбочке с узкой, понятное дело, стези добродетели.

А вот Маша стала расспрашивать меня о моей работе.

— Коля, — поинтересовалась она, — ты только с английскими законами знаком или с русскими тоже?

Я ответил, что изучал английское право, однако и в русском разбираюсь довольно прилично, особенно в корпоративном.

— А в каких сделках ты участвуешь?

Я сказал, что мы работаем главным образом со ссудами, но время от времени и со слияниями компаний либо приобретениями одних другими.

— То есть недвижимостью ты не занимаешься? — Голос ее почти полностью заглушался ухавшей в ритме сердца русской танцевальной

музыкой и гомоном головорезов.

Нет, ответил я, не занимаюсь. Я немного знаю вещное право, но лишь ту его часть, которая трактует о долгосрочных арендах коммерческих зданий.

Я понимаю, мне следовало бы уже тогда задуматься о том, чем могли быть вызваны эти вопросы. Но голова моя была занята Машей, тем, как мы с ней вернемся сегодня в мою квартиру, — ну и вопросом совсем иного рода: испытываю ли я то самое, прославленное «настоящее чувство».

Катю ждали на чьем-то дне рождения. Я предложил проводить ее, однако она ответила: не стоит, сама доберусь — и быстро ушла под ранним снегом ветреной русской ночи в сторону Большого театра.

Я предложил взять такси, но Маше хотелось пройтись, и мы направились к площади Пушкина. Миновали красивую, пощаженную коммунистами церковь, стриптиз-клуб, устроившийся в здании кинотеатра «Пушкинский» (в кабинках его верхнего этажа несколько месяцев спустя сгорела дотла компания венгерских бизнесменов), а следом — казино, перед которым наклонно стоял в стеклянном коробе спортивный автомобиль. Мокрый снег смягчал очертания города, сгла-

живал, точно художник-импрессионист, острые грани зданий. Впереди светилась площадь с памятником прославленному поэту, смахивавшая в неоновом свете на аляповатое изображение становища монголов.

— Похоже на Лондон, — сказал я. — Может быть.

Знаю, я слишком торопил события, особенно если вспомнить, как все складывалось у нас — у меня и у тебя. Однако тогда мои планы почему-то не казались мне нелепыми. Я стараюсь быть честным с тобой. Думаю, так будет лучше для нас обоих.

— Может быть, — отозвалась Маша.

Когда мы начали спускаться по скользким ступеням в подземный переход — тот самый, в котором состоялось наше знакомство, — она взяла меня под руку и не отпустила ее после того, как мы дошли до низу.

Выйдя из перехода на другой стороне Тверской, мы некоторое время шли по середине бульвара. Городские власти уже повыдергивали цветы из клумб, как делают это каждый год под конец осени, увозя их ночью в тачках, точно приговоренных к смерти преступников, казнь которых публике показывать не стоит. Жители столицы

успели облачиться в демисезонные одежды, женщины — в шерстяные или леопардовой расцветки пальто, которые они будут носить, пока не придет время извлечь из нафталина шубы. На скамейках лежали припорошенные снегом бездомные — точно посыпанные солью куски мяса на прилавке мясника. Капот стоявших на моей улице ржавых «Жигулей» покрыли таявшие снежинки.

Мы вошли в квартиру. Маша вставила в плеер диск и сняла пальто, а следом — медленно, под музыку, как уже делала это прежде, — и остальную одежду.

Когда все закончилось, мы налили ванну. Маша втиснулась в нее сзади меня, ее ухоженные лобковые волосы щекотали мой копчик, она обвила длинными ногами мой слегка отвисший живот. Теперь прямо перед ее носом оказались волосы, покрывающие мои плечи и верхнюю левую часть спины, — асимметричный розыгрыш генов, который ты так невзлюбила. Маша наполовину напевала, наполовину мурлыкала слезливую русскую народную песню, ероша пальцами мои мокрые волосы. Я ощущал все это как новую разновидность наготы, наши тела были мягкими и открытыми — не выставочными экспонатами и

не оружием. Мы плескались друг в дружку водой, и это воспринималось как нечто целомудренное, а моя покрытая прожилками ванна из поддельного мрамора — как наша общая колыбель.

Помню, она рассказывала мне в ванне, как гордилась в детстве своим отцом и как все изменилось, когда прежняя империя распалась и ему перестали платить жалованье. Тогда-то он и начал пить всерьез, сказала она. А еще Маша рассказала, как их учили в начальных классах школы почитать какого-то сопляка сталинской эры, который донес на своего припрятавшего зерно отца. Они пели о нем песни, рисовали этого маленького сибирского гаденыша, пока в один прекрасный день учитель не велел им песен этих больше не петь, а рисунки порвать, — и тогда она поняла, что случилось нечто ужасное.

— Но разве ты не почувствовала себя свободной? — спросил я. — Когда коммунизму пришел конец, ты не ощутила свободу?

— В Мурманске, — ответила она, — мы ощущали только бедность. И холод. Народ не зря говорит: «Свободой сыт не будешь».

Когда ей было семнадцать, сказала Маша, матери потребовалась операция. Как и за все, что государство теоретически предоставляло людям

задаром — от акушерки, помогавшей человеку появиться на свет, до участка земли на кладбище, — им пришлось платить: давать взятки врачам, покупать мыло и кетгут, которыми зашьют после операции разрез на теле матери. И Маша бросила институт — всего через неделю после начала занятий — и устроилась на работу в столовую военно-морской базы. Она и сейчас еще каждый месяц посылает матери деньги. Я угадал почти точно: ей, сказала Маша, двадцать четыре, а Кате двадцать.

Я спросил, что она чувствовала тогда — бросив учебу, начав работать, пожертвовав ради матери своим будущим.

— Это было нормально. Знаешь, Коля, в те времена у нас больших надежд не имелось. Плохая еда. Плохие люди. Невезение. Ничего особенного.

Конечно, она использовала правильное сочетание: ее силы с ее бедой. Маша была девушкой целеустремленной, знавшей жизнь, и казалась в чем-то старше, чем я (хотя по московским меркам наша разница в возрасте была вполне респектабельной). И в то же самое время она производила впечатление существа беспомощного и почти одинокого. Она пробуждала во мне именно те желания, какие ей требовались: стремление

спасти кого-нибудь (или увериться, что ты на это способен) — присущее, насколько я понимаю, каждому мужчине — и потребность в том, чтобы кто-то спас тебя.

Я знал, что у меня нет тех денег, на какие она, возможно, рассчитывала. Но думал, что дать ей ощущение безопасности мне по силам.

— На каком судне служил твой отец? — спросил я.

Она ответила, что не имеет права рассказывать об этом, особенно иностранцу. Но тут же звонко рассмеялась и добавила, что сейчас оно, наверное, уже не имеет значения.

— Он плавал на… как это у вас называется? — корабль, который ломает лед. Чтобы могли проплыть другие суда.

— Ледокол.

— Да, — согласилась она, — ледокол. Отец служил на атомном ледоколе. И дед тоже на ледоколах ходил. Во время войны он расчищал путь для кораблей с Запада. Может быть, и для твоего дедушки расчищал.

— А как он назывался? Ледокол твоего отца.

Я считал, что это еще один вопрос, который полагается задавать, когда разговор идет о моряке.

Маша ответила, что в названии не уверена,

просто забыла его. Однако, продумав несколько секунд, сказала:

— «Петроград». Ледокол «Петроград». Его назвали так в честь революции.

Она улыбнулась, как улыбается человек, которому удалось извлечь из памяти затерявшийся в ней драгоценный факт.

Утром, когда Маша еще спала, прижавшись щекой к подушке, я обнаружил, что нос ее чуть искривлен — на расстоянии в две третьих его длины от кончика, — следствие удара тыльной стороной руки, решил я, нанесенного ей либо отцом, либо морячком-ухажером. А еще обнаружил два одинаковых темных пятнышка точно в центре каждой ягодицы. И крошечные морщинки, едва-едва начавшие появляться возле уголков глаз. Помню, увидев их, я возжелал ее еще сильнее — потому что они делали Машу настоящей, живым существом, которое может умереть, и не только умереть.

Позже, когда мы пили на кухне чай с лимоном (чашки из «ИКЕА», стулья из «ИКЕА» — большая часть моей обстановки происходила из «ИКЕА», которая была тогда в Москве такой же неизбежностью, как смерть, уклонение от налогов и цирроз печени), Маша снова заговорила о своей

тетушке, той, что жила в Москве. Сказала, что она и Катя видятся с ней так часто, как могут, но не так, как хотели бы. И сказала, что хочет вскоре познакомить меня с ней.

— Может быть, на следующей неделе, — предложила она. — Или через неделю. Тете одиноко в Москве, поэтому она радуется, когда мы к ней приходим. Ты ей понравишься. Думаю, знакомых иностранцев у нее не много. Может, и ни одного. Прошу тебя.

Ну конечно, ответил я. Буду счастлив познакомиться с ней. Маша допила чай, поцеловала меня в кончик носа и ушла на работу.

Приближалась середина ноября. Весь «мокрый снег» растаял, однако лед, образовавшийся во время октябрьских холодов, уцелел — забился в трещины асфальта и сидел там, точно попавший в окружение взвод, ожидающий подкрепления. «Входите», — сказала Татьяна Владимировна. О Советах можно говорить что угодно, но по части паркета они всегда оставались чемпионами мира. Паркет начинался прямо от двери квартиры и тянулся переплетенными бумерангами хрущевской эпохи, прикрываясь в середине пола выцветшим туркменским ковром. Еще имелась в квартире поблескивавшая коммунистическая

люстра, которая выглядела сказочной, пока ты не подходил к ней поближе.

Мы разулись, повесили наши пальто на крючки и пошли по коридору за Татьяной Владимировной. Квартиру ее я помню гораздо яснее, чем мне хотелось бы. Мы прошли мимо спальни с двумя одинарными кроватями (застелена была только одна), темным деревянным гардеробом и белым туалетным столиком с зеркалом в орнаментальной раме. За спальней последовала еще одна комната, наполовину заставленная упаковочными коробками, следом — дверь в ванную комнату и кухня с допотопным холодильником и истертым линолеумом на полу. Стены гостиной, в которую она нас привела, были оклеены ворсистыми коричневыми обоями, немного отставшими в одном углу, под потолком. Здесь стоял книжный шкаф с томами старой советской энциклопедии и большой деревянный стол, накрытый зеленой бязью. На столе красовалось русское угощение, которого я всегда побаивался, столь же несъедобное, сколь и экстравагантное. Оно наверняка обошлось хозяйке в месячную пенсию и две недели готовки: рыба в капельках жира, студень из мяса неопределимого животного, разломанные на комки русские шоколадки,

уже остывшие блины, сметана и особый сладковатый сыр, который в России жарят, приплюснув в котлетки.

Окна были закрыты, а центральное отопление — все еще принадлежавшее правительству города и управлявшееся им — жару создавало нечеловеческую. Татьяна Владимировна указала нам на полинялый диван. «Чаю», — сказала она (это было уведомление, не вопрос) и ушла.

Девушки, присев, начали шептаться. Я же огляделся вокруг. Квартира Татьяны Владимировны смотрела на бульвар и на Чистые пруды (типичное для русских мечтательное заблуждение, если говорить о воде, тем не менее эта часть московского центра приобретала все большую элегантность). Из большого окна гостиной был виден пруд, деревья вокруг него. Бедуинский шатер ресторана, который открывался летом на выдававшейся в пруд платформе, уже убрали, гондолы, в которых вас ублажали — за непомерную плату — серенадами, сохли на берегу. По другую сторону пруда возвышалось странное голубоватое здание, отделанное барельефами действительно существующих и выдуманных животных, одно из тех удивительных украшений столицы, которые иногда открываются твоему

взгляду, производя впечатление цветов на поле битвы. Мне удалось различить сов, пеликанов, двухголовых грифонов, двуязыких крокодилов, скачущих, но почему-то унылых псов. Мутное ноябрьское небо напоминало плохо настроенный черно-белый телевизор.

На одной из стен гостиной висел набор тарелок с классическим сине-золотым санкт-петербургским орнаментом и диплом новосибирского технического института. В комнате имелся также старый карболитовый радиоприемник — выкрашенное под красное дерево сооружение размером с сундук и даже с крышкой сверху. На книжной полке стояли две обрамленные черно-белые фотографии. На одной молодая пара сидела под ветром на камнях у моря — женщина смотрела, смеясь, на мужчину, он, рано облысевший, смотрел сквозь серьезные очки в объектив. Выглядели они такими счастливыми, какими, по моим представлениям, советским людям быть не полагалось. В нижнем правом углу фотографии имелась белая, якобы от руки сделанная надпись: «Ялта, 1956». На другом снимке девушка стояла в чем-то вроде сильно увеличенного беличьего колеса, вцепившись руками в его обод, исполняя, по-видимому, одновременно с другими девуш-

ками некое гимнастическое упражнение: на снимке различались еще два таких же колеса с физкультурницами внутри. Склонившись к снимку и вглядевшись, я понял — это та же девушка, что и на приморской фотографии, разве что на *этой* она несколькими годами моложе. Бедра ее обтягивало подобие теннисных трусиков, куда более сексуальных, чем им, наверное, полагалось быть; девушка широко улыбалась. Так это наша хозяйка, дошло наконец-то до моей склоненной головы, — Татьяна Владимировна.

На письменном столе за буфетом я увидел еще одно фото — того же мужчины в очках, только постарше, — на фото он сидел за этим же самом письменным столом с аккуратной стопкой каких-то бумаг, пепельницей и старомодным дисковым телефонным аппаратом. Он наполовину отвернулся от стола, чтобы взглянуть в объектив, — похоже, документы, с которыми он работал, были слишком важны, чтобы совсем забыть о них.

— Это мой муж, — произнесла Татьяна Владимировна. Она остановилась, держа в руках маленький серебристый самовар, прямо за моей спиной. — Петр Аркадьевич.

Чай она разливала на русский манер — снача-

ла немного крепчайшей заварки из чайничка, потом кипяток из самовара. Нам выдали по блюдечку с вареньем и чайные ложки, чтобы мы лакомились им, запивая его чаем, — немного варенья, глоток чая и снова то же самое; я этот ритуал освоить так и не смог.

Началась беседа. Одни разговоры, в которых я участвовал в Москве, походили на опрос перед приемом на работу, другие — на туристский справочник по географии России.

— Чем вы занимаетесь, Николай?

— Я юрист.

— А отец ваш чем занимается?

— Он учитель. И мать тоже. Правда, они уже на пенсии.

— Нравится вам Москва?

— Да, очень.

— А что вы еще видели в России, кроме Москвы?

Я ответил, что побывал в одном-двух подмосковных монастырях, вот только названия их, к сожалению, забыл.

Значит, в Сибири я не был и «нашего великого Байкала» не видел? Известно ли мне, что это самое глубокое озеро в мире? Или что в реках Камчатки водится одиннадцать видов лосося?

Я переключился на автопилот. Глаза мои раз за разом натыкались на изгиб Машиного бедра. А затем Татьяна Владимировна упомянула, как это часто делают русские старики, о чем-то, внушившем мне ощущение моей бесконечной наивности, такой, точно я родился, в сравнении с нею, столько всего пережившей и повидавшей, только вчера, — это крайняя версия того, что ощущаешь в двенадцать лет, слушая разговор родителей о чем-то, совершенно тебе не понятном: о налогах или чьем-либо разводе. В России подобное чувство вызывало во мне упоминание о дяде таком-то, таком-то, отправленном в ГУЛАГ и не вернувшемся, или просто о заурядном проявлении героизма либо недостойном поступке — о человеке, до сорока лет прожившем в одной комнате с родителями, или подвергавшем чьи-то письма цензуре, или три дня простоявшем в очереди за картошкой.

Она спросила, был ли я в Санкт-Петербурге. Я сказал, что еще не был, но ко мне собирается в гости мать, и, может быть, скоро (это было правдой, она действительно грозилась приехать), и мы надеемся вместе съездить туда.

— Я ведь из Петербурга, — сказала Татьяна Владимировна. — Из Ленинграда. Родилась в

деревне под ним.

В деревне, продолжала она, ее мать доила коров и тайком молилась Богу. А отец работал на колхозной ферме. В город они переехали после его смерти, перед самой Великой Отечественной, ей тогда было лет семь, не то восемь. Сестра и мать умерли во время блокады. А старший брат, продолжая улыбаться, сообщила она, погиб под Курском. Через несколько лет она уехала с мужем, мужчиной с фотографии, в Новосибирск, университетский город в Сибири. Странно, сказала Татьяна Владимировна, в Сибири они чувствовали себя почти свободными, более свободными, чем в довоенном Ленинграде или в послевоенной Москве. Муж был ученым — чтобы уяснить то, что она рассказала о нем, моего русского не хватило, не уверен, впрочем, что хватило бы и английского, — в общем, насколько я понял, он участвовал в разработке краски, которой покрывались внутренние стены ракетных пусковых шахт, что-то в этом роде, проблема, по ее словам, оказалась достаточно сложной, краске надлежало выдерживать высокие температуры, создаваемые ракетными двигателями.

— Он был крупным ученым, — по-английски сказала Катя.

— Потому Татьяна Владимировна и получила квартиру в центре Москвы, — по-русски добавила Маша. — За его заслуги перед родиной.

— Да, — подтвердила Татьяна Владимировна. — Товарищ Хрущев дал эту квартиру мужу в шестьдесят втором. В то время многие бились над тем, как запускать ракету, не сжигая при этом шахту. Петр Аркадьевич очень много работал и в конце концов нашел ответ.

Она и сама все еще работает, сказала Татьяна Владимировна, — на полставки, экскурсоводом в расположенном рядом с парком Горького музее какого-то знаменитого русского ученого, о котором я никогда не слышал. Ей было присуще уважительное отношение к молодым людям, какое иногда встречается у стариков, — о событиях своей жизни они рассказывают коротко и быстро, чтобы не отнимать у нас, молодых, слишком много драгоценного времени. Мне Татьяна Владимировна понравилась. Понравилась с самого начала и нравилась до конца.

— Итак, Николай, что вы думаете о нашем маленьком плане? — неожиданно спросила она.

О чем она говорит, я ни малейшего представления не имел и потому взглянул на Машу. Маша перекрестила ноги и кивнула.

— По-моему, он великолепен, — сказал я, решив, что такой ответ доставит ей удовольствие.

— Да, — согласилась Татьяна Владимировна. — Великолепен.

Мы улыбнулись, все.

— Николай! — произнесла, поднимаясь на ноги, Татьяна Владимировна. — Девочки! Вы же еще ничего не ели!

Мы сгрудились у письменного стола, Татьяна Владимировна раздала тарелки и позаботилась о том, чтобы я получил кусок нелюбимой мной рыбы. Я постарался похоронить его под холодными блинами.

Мы снова сели, Татьяна Владимировна спросила Катю об университете.

— Учиться там трудно, — ответила Катя, — но очень интересно.

После чего мы погрузились в благонамеренное, но неловкое молчание.

— Рыбка любит поплавать! — воскликнула вдруг Татьяна Владимировна и, снова поднявшись со стула, ушла на кухню и вернулась оттуда с непочатой бутылкой водки и четырьмя старенькими стопками, на стекле которых были награвированы снежинки. Она открыла бутылку, разлила водку, мы встали, чтобы чокнуться.

— За ваши успехи, дети! — произнесла Татьяна Владимировна и сноровисто опрокинула стопку в рот.

Мы проделали то же. Я почувствовал, как водка обожгла мое горло, потом желудок, а потом ощутил тепло в груди и мгновенный душевный подъем, который и делает водку таким проклятием. Щеки мои покраснели, до повреждения печени и совершения неразумных поступков было уже рукой подать. Поинтересоваться у кого-нибудь, в чем же он состоит, упомянутый план, я так и не удосужился.

Спустя десять минут («За Россию!», «За нас!», «За английскую королеву!») я по-английски спросил у Маши, не пора ли нам откланяться. Она ответила — нет, ей еще нужно поговорить с Татьяной Владимировной. Я понимал, что уходить, пока не допита бутылка, — не принято, и все же сказал Татьяне Владимировне, что у меня, к сожалению, назначена встреча и потому я должен уйти.

— Но вы же так ничего и не покушали, — запротестовала она, взглянув на мою переполненную тарелку и прихлопнув перед собою в ладоши.

— Простите, — сказал я. И прибавил, что знакомство с ней доставило мне огромное удовольствие.

Я поцеловал девушек в щечки. Татьяна Владимировна проводила меня, скользившего по паркету к моему пальто и ботинкам.

— До свидания, — сказал я. — Огромное спасибо. До встречи.

— Так ничего и не покушали, — повторила она, закрывая за мной дверь.

Я понесся по лестнице вниз, радуясь, что покинул эту квартиру с ее удушающим отсутствием детей.

Вернувшись домой, я обнаружил Олега Николаевича, стоявшего — в черном костюме, черной рубашке и мягкой черной же шляпе — на лестничной площадке между нашими этажами. Вид у него был бы безукоризненно элегантный, если бы не два кошачьих волоса на лацканах пиджака. Мне показалось, что он даже бороду подстриг. Он сильно походил на человека, надумавшего посетить собственные похороны.

— Как дела, Олег Николаевич?

Думаю, я еще был немного хмелен.

— Нормально, Николай Иванович, — ответил он. — Как это говорится у вас в Англии? Отсутствие новостей уже хорошая новость. Вот только соседа нашего, Константина Андреича, найти никак не могу.

— Какая жалость, — сказал я. — Сочувствую.

— Мой друг Константин Андреич, — продолжал он, — живет в доме за церковью. И не отвечает на телефонные звонки.

И он уставился на меня таким взглядом, точно ожидал услышать: «А, *этот* Константин Андреич, ну так бы и сказали, он у меня на кухне сидит».

Я же лишь постарался улыбнуться и одновременно изобразить озабоченность.

— Уверен, с ним все в порядке, — сказал я. И подумал, помнится, что Константин Андреевич, кем бы он ни был, скорее всего, отключил телефон — или упился до временной глухоты. Однако постарался, как только мог, отнестись к словам Олега Николаевича со всей серьезностью.

— Может, он к брату уехал, в Тверь.

— Может быть, — согласился я.

— Пожалуй, — продолжал он, — вы могли бы помочь мне.

— Был бы счастлив, — ответил я, — но не уверен, что мне это по силам.

— По силам, по силам, — заверил меня Олег Николаевич. — Вы же юрист. Американец.

— Я не американец.

— Ну пусть, — настаивал он, — но у вас есть

кредитная карточка. Секретарша. Вы можете позвонить в милицию, в прокуратуру. А я всего лишь старик. И это Россия.

— Ладно, — сказал я. — Конечно. Если смогу, помогу. Попробую. Даю слово, Олег Николаевич.

Он подступил ко мне, и на секунду мне показалось, что сейчас он схватит меня за грудки или ударит. Однако Олег Николаевич всего лишь положил мне ладонь на левое плечо, приблизил рот к моему уху — так, что, когда он заговорил, язык его только что не влез туда.

— Уважаемый Николай Иванович, — сказал он, — все время улыбаются лишь идиоты.

Глава пятая

Полагаю, теоретически, — ну, скажем, сразу после полудня — бывало и так, что Стив Уолш целых пять минут кряду обходился без глотка кофе или красного вина, так же как, теоретически, в жизни русской женщины должна была существовать, в тридцатилетием с чем-то возрасте, промежуточная фаза, когда она переходила от высоких каблуков и выставления напоказ своих прелестей к тестообразности средних лет. Однако мне увидеть Стива не принимавшим того или другого из наркотических средств так и не довелось. Подобно большинству московских иностранцев-алкоголиков, Стив усвоил тактику, которая позволяла ему питать уверенность, что таковым он отнюдь не является: он заказывал вино по бокалу за раз, даже если выпивал их за один присест десять-двадцать, — бумажнику Стива это обходилось дороже, зато повышало его самооценку. Когда я встретился с ним за ланчем и рассказал о себе и о Маше, он уже переключился с кофе на вино.

— Ну хорошо, — сказал Стив, после того как я

подытожил наши с ней отношения, — она уже заставила тебя что-нибудь ей купить? Бриллианты? Машину? Или, скажем, оплатить услуги косметического хирурга?

— У нас с ней все не так.

— А как?

— По-другому, Стив. Перестань.

— Думаешь, она жаждет тебя из-за твоей красоты?

Строго говоря, Стив был англичанином, однако попытки бежать и от Англии, и от себя самого он предпринимал уже так долго и забирался ради этого в такое число далеких от родной страны мест — насколько я знаю, перед Москвой Стив провел три или четыре года в Мексике, до нее был на Балканах, а до Балкан где-то еще; где именно, я не помню, да, может, и сам он уже забыл, — что ко времени нашего знакомства обратился в одного из тех потерянных для своей страны зарубежных корреспондентов, которых описывал Грэм Грин, — в гражданина республики циников. Он использовал меня для получения сведений, делиться которыми я, вообще говоря, был не вправе, — намеков на то, что такой-то картель занял у такого-то банка такую-то сумму, дабы поглотить такую-то нефтяную или алюминие-

вую компанию, — и составлял из них уравнения алчности, которые позволяли ему понять, кто в Кремле идет вверх, а кого ожидает падение, кто станет следующим президентом, а кому светит магаданский лагерь. Стив делал вид, что проверяет мои намеки, а затем использовал их в статьях, которые писал для «Индепендент» и какой-то канадской газеты, о которой его лондонские работодатели и ведать не ведали. Я тоже использовал его — чтобы разговаривать на английском о чем-то, не имеющем отношения к бонусам. Мы оба использовали друг друга. Говоря иначе, дружили. Возможно, в Москве Стив был единственным моим настоящим другом.

Полноватый блондин, он, наверное, был когда-то красивым, однако ко времени нашего с ним знакомства лицо его покрылось морщинами и приобрело цвет «риохи». Он немного походил на Бориса Ельцина.

— Стив, — сказал я, — ты только не злись, но, по-моему, я влюбился.

Ты никогда не была завистницей, хотя, с другой стороны, тебе и завидовать-то особенно нечему. Полагаю, ты на месте Стива такое мое заявление как-нибудь пережила бы.

— Иисус распродолбанный, — произнес Стив и

помахал перед собой бокалом.

Мы ели бефстроганов в спрятавшемся в самой глубине Смоленского торгового центра французском ресторане, куда любовницы «минигархов» заглядывают между сеансами педикюра, чтобы попить дорогущего чая. Стоял, я думаю, самый конец ноября. Накануне вечером выпал настоящий густой снег, сыгравший с городом странную шутку, за один лишь час изменив его. Все уродливое стало красивым, все красивое — волшебным. Красная площадь обратилась в декорацию кинофильма: с одной стороны — заиндевевший мавзолей и припорошенный снегом Кремль, с другой — царственный, освещенный, точно ярмарочный балаган, универмаг. На строительных площадках и по церковным дворам стаи бродячих собак оптимистично рылись в грязи. Таксисты взвинтили цены. Определить, сколь долгое время провел в Москве тот или иной иностранец, легко было по времени, которое он простаивал в снегу у машины, торгуясь. Старухи-попрошайки приняли зимние шантажные позы: теперь они стояли, коленопреклоненные, на заснеженных тротуарах, разведя в стороны руки. Впрочем, я знал, что под шубами и недовольными гримасами русских кроется счастье, как они его понимают. Ибо снег,

вместе с борщом и фатализмом, — это часть того, что делает их теми, кто они есть.

— Думаю, и она меня любит. Или может полюбить. По крайней мере, я ей нравлюсь.

— Это она тебе сказала?

— Нет.

— Послушай, — сказал Стив, — все, что она делает, она делает искренне. Если она говорит что-то, значит, именно так и думает.

Но через двадцать минут она так же искренне сопрет твою кредитную карточку Они же искренни во всем.

— Ты когда-нибудь любил, Стив?

— Знаешь, что тебе требуется, Ник? Тебе требуется избавиться от нравственных ориентиров. Иначе пропадешь.

Я сменил тему. Решил спросить Стива, не сумеет ли он помочь моему соседу в поисках его друга. Я, как и обещал, сходил в милицию и, как и говорил Олегу Николаевичу, ничего там не добился. Со мной пошла Маша: Олег Николаевич в последнюю минуту объявил, что у него срочная встреча и составить компанию он не сможет, — думаю, его просто-напросто остановил врожденный страх перед мундирами. Принявший нас прыщавый, молоденький следователь был облачен не

в форму, а в джинсы и слушал гангста-рэп. Над столом его висел плакат: «Цветов и шоколада не пью», плюс черно-белые портреты президента России и Эрвина Роммеля. Юноша смерил нас особым взглядом, присущим, помимо женщин, и кое-кому из русских мужчин, — оценивающим нашу платежеспособность — и одарил улыбкой, говорившей: «Деньги можете оставить здесь». «Тебе придется заплатить», — по-английски прошептала мне Маша. Я заплатить не пожелал, и следователь заявил, что состав преступления отсутствует, а стало быть, он ничего сделать не может. Когда же мы уходили, он сказал, что, если я когда-нибудь буду опаздывать в аэропорт, он готов снабдить меня эскортом из двух мотоциклистов. («Ну, — произнес Олег Николаевич, выслушав мой рассказ о посещении милицейского участка, — пока мы живы, не исключено все-таки, что когда-нибудь и нам улыбнется счастье».)

Я полагал, что среди знакомых Стива найдется какой-нибудь благосклонный к нему милиционер, или прирученный секретный агент, или квартирный вор — кто-то, способный провести расследование, расшевелить чью-либо память — или совесть.

Стив сказал, что ему очень жаль, но милиционеры, которых он знает, занимаются совсем другими делами. И посоветовал не тратить зря времени, поскольку Константин Андреевич, скорее всего, мертв — свалился в реку, или попал под машину, а может, напился самопальной водки и скопытился где-нибудь в лесу.

— Не связывайся ты с этим, — сказал Стив. — Они тут с трудом дотягивают до шестидесяти. Поживи в этой стране подольше — и все, кого ты знаешь, перемрут. Если ты знаком с двумя русскими, которым за шестьдесят, один из них, скорее всего, окочурится в самом скором времени. В особенности это касается мужчин. Они допиваются до могилы, не успевая даже на пенсию выйти.

Если тебе случится заскучать в метро, сыграй в такую игру: попробуй отыскать старика.

— Других идей у тебя нет, Стив? Я говорю о помощи в поисках его друга. Серьезно. Он неплохой старикан, мой сосед. Но у него нет ни денег, ни «крыши», ничего. Думаю, кроме меня ему надеяться не на кого.

— Такова Россия, — ответил Стив. — Молись.

Я сдался и спросил у Стива, известно ли ему что-нибудь о моем новом деловом знакомом, о Казаке. И Казак его заинтересовал.

— Это невысокий такой? — спросил он. — Бледный, глаза сальные?

— Да, — подтвердил я. — Он самый.

— К нефти он отношения не имеет, — сказал Стив. — Казак работает на ФСБ.

Если такая аббревиатура тебе не известна, уведомляю: ФСБ — это новый вариант КГБ минус коммунистическая идеология и какие бы то ни было принципы.

— Говорят, в начале девяностых его посадили за убийство, где-то на Урале. ФСБ завербовало его прямо в тюрьме, вытащило оттуда и отправило на Дальний Восток, чтобы он помог разобраться с тамошними браконьерами. Лично я с ним не знаком, но как-то раз — в баре на Сахалине — один шотландский вертолетчик показал его мне. Насколько я помню, пилот сказал, что Казак расследовал на Камчатке махинации с икрой, а потом его перебросили на лосося. Он едва не стал вице-губернатором острова, но ФСБ отозвало его оттуда. Похоже, с рыбой он управился хорошо, и его перевели в нефтяной отдел. Уголовщина, бизнес, политика, шпионаж — обычная русская карусель.

— Может, он ушел из ФСБ в бизнес, — сказал я.

— Они все и так в бизнесе варятся, — ответил

Стив. — А кроме того, из ФСБ не уходят. Как любит говорить нынешний президент, бывших чекистов не бывает.

Я спросил, знает ли он что-нибудь о финансируемом нашей ссудой проекте постройки северного нефтеналивного причала. Дело это продвигалось быстро и гладко, Казаку предстояло вот-вот получить первую порцию денег. Задействованные банки уже смоделировали денежные потоки, обычная орава консультантов провела анализ жизнеспособности проекта, мы же выдали сотни страниц, трактовавших о возможных отказах от обязательств и соответствующих возмещениях убытков. Проформы ради мы постарались заручиться официальными обещаниями: о сотрудничестве — от губернатора края, где должен строиться причал; от «Народнефти» — о предоставлении нам сведений относительно перекачиваемых через причал объемов нефти; а от Казака — о проценте доходов, что будет отчисляться на предмет оплаты ссуды. Все эти документы нам предстояло получить в самом скором времени, а в том, что мы их получим, сомнений у нас не было. Строительство, заверил нас Казак, идет полным ходом: в конце следующего лета причал перекачает в танкеры первую нефть. Смущало

нас только одно: наш инспектор, Вячеслав Александрович, совсем уж было собрался съездить на место строительства, однако подчиненные Казака попросили его отложить поездку на несколько недель, сказав, что на стройке случился небольшой пожар.

— Выглядит все вполне правдоподобно, — сказал Стив. — Пропускную способность своих нефтепроводов русские более-менее исчерпали, поэтому им позарез нужны новые средства для экспорта нефти. Сам президент, когда он в последний раз общался с народом в прямом эфире, сказал: «Это одна из серьезнейших проблем российской экономики, и мы будем приветствовать помощь наших зарубежных партнеров и их инвестиции» — обычная его херня. Предполагается, опять же, что следующий большой бум будет связан с нефтью, добываемой с морского дна. А поставлять ее на европейский рынок лучше всего без участия строптивых соседей, с которыми у России то и дело портятся отношения. Тем более что у нее есть незамерзающий порт, до него, если не ошибаюсь, доходит Гольфстрим, — этим портом она и воспользуется. А кто в этом деле партнеры?

Всего лишь одна снабженческая фирма и «На-

роднефть», ответил я.

— Интересно. Знаешь, готов поспорить, что вашим банкам ничего не грозит. У русских есть нефть, они хотят ее продавать. Правила им известны: пока ими довольны за рубежом, с собственного народа они могут хоть три шкуры драть. Но ты же понимаешь, Ник, у них всегда остается возможность обходного маневра. Я думаю, эта снабженческая компания потребовалась только для того, чтобы, когда пойдут серьезные деньги, снимать с них сливки без необходимости делиться со страной. Тебе известно, что означает название «Народнефть»?

— Да.

— «Народная нефть». Шутники сраные.

Как-то раз Стива вызвали в Министерство иностранных дел и устроили ему разнос за то, что он, не испросив ни у кого разрешения, съездил в Чечню, записал там интервью с российскими военными преступниками, откровенно себя таковыми признавшими, и опубликовал записи в своих газетах. Министерство пригрозило лишить его визы, а он ответил (так, во всяком случае, гласит легенда): валяйте, выбросьте меня из вашей страны, я только рад буду. Если легенда правдива, значит, он попросту блефовал, поскольку Стиву,

как и всем до единого журналистам, каких я знал в Москве, жить в России нравилось. Шикарных ресторанов и импортного пива здесь было хоть завались, а в добавление к ним Россия сохранила массу дурных привычек, снабжавших этих писак материалом для статей, которые печатались в других странах — откуда писаки предпочли по тем или иным причинам смыться. Большинство, а Стив в особенности, прикрывали свою любовь к России своего рода моральным мачизмом. Создавалось впечатление, что Стив подписал контракт, обязывавший его видеть во всем и вся только дурное — или притворяться, что видит. И он обращался порою в слишком уж благочестивого, для мудака вроде него, засранца.

— Ну не знаю, Стив, — сказал я. — Ты же понимаешь, для нефтяных воротил это стандартная практика: когда дело доходит до крупных инвестиций, они создают отдельные компании, чтобы не марать свою финансовую отчетность большими займами. Так поступают все западные компании, не только «Народнефть».

Я говорил правду, таков был обычный бухгалтерский маневр. Возможно, впрочем, я выгораживал Казака лишь потому, что Стив позволил себе поязвить на мой с Машей счет.

— Так ведь мы не о западной компании говорим, Ник, — ответил, отхлебнув вина, Стив. — Ты пойми, Советский Союз добился полной противоположности того, к чему он стремился. Предполагалось, что все здесь должны по-братски любить друг друга, а кончилось тем, что каждому теперь насрать на всех остальных. На общество. На акционеров. И на тебя в том числе.

Я уже знал по опыту, на какую тему он начнет сейчас разглагольствовать: коммунизм, дескать, вовсе не погубил Россию — ровно наоборот; и за время, какое понадобится Стиву на то, чтобы управиться с тремя следующими бокалами, я много чего услышу о возникновении гебистского государства, о наследии Ивана Грозного и о сравнительных преимуществах женщин Санкт-Петербурга. И, глядя в его тусклые, крапчатые глаза, я решил, что Стив просто-напросто завидует — мне, Маше и каждому, у кого еще сохранились надежды на счастье и стремление к нему. Бессвязная, посвященная истории России лекция Стива едва успела добраться до татаро-монгольского ига, когда я прервал его, отодвинув тарелку и сказав:

— Вообще-то, я чувствую себя довольно паршиво. Прошлую ночь мы с Машей до того увлеклись,

что почти и не спали. Так что извини, Стив, но я, пожалуй, пойду. Давай повторим в ближайшие дни, идет?

— Да кто же из нас не чувствует себя довольно паршиво? — ответил Стив и, отыскав глазами официанта, приподнял бровь и постучал пальцем по своему бокалу. — А виной всему гребаная Россия. Ее бухло.

Грязный воздух. Дерьмовая еда. Долбаные самолеты. Ну уж о гадости, которая валится нам на головы вместе с дождем, лучше и не думать. Россия похожа на полоний, Ник. Она убивает все органы тела сразу.

— О чем сейчас пишешь? — спросил я, обматывая шею шарфом.

— Большую статью о здешней энергетике, — ответил он. — Сильно превышающую размерами твой паршивенький нефтяной причальчик.

— А ракурс — бизнес, политика?

— В России, — сообщил Стив, — нет никакого бизнеса. И политики тоже нет. И любви. Есть только преступность.

Глава шестая

В каждую мою русскую зиму наступали дни, когда я начинал думать: все, больше мне этого не вынести. Дни, когда я мог отправиться прямиком в аэропорт, если бы не знал, какие пробки ждут меня на пути к нему. В эту пору даже простое хождение обращается в тренинг по преодолению препятствий — человеку приходится то и дело огибать сугробы и трусить по узким, еще сохранившим проходимость отрезкам тротуара, борясь при этом со встречными. Тебе ведь известно, как это бывает в Лондоне: ты сталкиваешься с кем-то, идущим навстречу, пытаешься обогнуть его, а он отшагивает в ту же, что и ты, сторону, и вы все равно преграждаете друг другу путь, но в конце концов вам удается разойтись, улыбаясь мыслям о ненарочной телесной близости, о собственном безвредном, в общем-то, невезении и так далее, — известно, правда? В Москве все было иначе. Примерно раз в месяц я забывал о необходимости поджимать защищенные ботинками на меховой подкладке пальцы, и тогда ноги мои по дуге взлетали вверх, задница устремлялась вниз,

и я переживал долгие, долгие секунды беспомощного ужаса в ожидании тяжкого удара об лед.

А были еще оранжевые люди. Каждый год после первого сильного снегопада кто-то из сидящих в мэрии нажимал на кнопку, и полчища людей в оранжевых куртках, новоиспеченных рабов из Таджикистана, Узбекистана или Неведомостана, выползали, точно армия мирных оккупантов, не то из-под земли, не то из пространств, лежащих за кольцевой дорогой. Они разъезжали по городу в допотопных грузовиках, сгребали лопатами снег, сооружая из него целые горы, и поливали сопротивлявшиеся им наледи химикатами, которые мало чем отличаются от оружия массового уничтожения. На моей улице они всегда отбрасывали снег на одну ее сторону, погребая под ним все машины, неосмотрительно там оставленные, — в эту зиму такая участь постигла ржавые «Жигули». И каждую ночь, часа в четыре, оранжевые люди с лопатами приходили скалывать лед с тротуаров и производили шум, который и покойника пробудил бы, — шум, представлявший собой нечто среднее между визгом скользящих по стеклу ногтей, грохотом судостроительного завода и воем бродячих котов. А худшим во всем этом была моя сволочная неблагодарность. Я

ненавидел их и в то же время знал, что лишь благодаря глупой случайности лежу у себя в квартире, в тепле, а иногда и рядом с женщиной, а они надрывают под моими окнами спины.

Одним тягостным вечером в конце ноября я — вместо того, чтобы бежать в аэропорт, — поскакал к Маше, к ее магазину, расположенному неподалеку от станции метро «Новокузнецкая». Она меня не ждала. Я повернул налево, к Третьяковской галерее, миновал заброшенный храм и подвальное кафе напротив него, в котором побывал однажды, — дети высокопоставленных родителей слушали там песни протеста и изображали диссидентов. Магазин Маши сразу за этим кафе и стоял. Я заглянул в его витрину.

Маша — волосы ее были стянуты лентой, с какой принято изображать кэролловскую Алису, — сидела за столом и слушала молодую пару в нарочито потрепанной одежде, объяснявшую, что им требуется от сотового телефона. Входя в магазин, люди попадали в приемную, получали от автомата билетик с номером, а после ждали, когда их вызовут во внутренний офис, где трудилась Маша и еще несколько продавщиц. Ждать в приемной приходилось стоя, и это был ад кромешный, — примерно так же выглядел, по моим

представлениям, трюм Ноева ковчега. (В то время мобильных телефонов было в Москве больше, чем жителей, главным образом, как уверяли многие, из-за мужчин, обзаводившихся вторыми номерами и трубками, чтобы спокойно разговаривать со своими любовницами.) В дальнем углу приемной завывала, точно роженица, какая-то женщина. Я протер запотевшие очки и начал проталкиваться сквозь толпу, но тут дверь внутреннего офиса отворилась и из нее вышла Маша.

— Коля, — произнесла она хрипловатым, рокочущим голосом, от которого у меня все начинало подрагивать внутри, — будь добр, иди на Пятницкую, в «Раскольников», и подожди меня там. Я буду минут через двадцать.

— Ладно, — согласился я.

Я смотрел, как она возвращается на свое рабочее место, — нижнюю часть Машиного тела обтягивали черные брючки офисной девушки, линии верхней сглаживались темно-зеленой футболкой ее фирмы.

Я поступил, как мне было велено, и сидел, ожидая Машу, у окна «Раскольникова», уютного кафе, укрывшегося в маленьком дворике и не прилагавшего никаких усилий к тому, чтобы его обнаружили. В конце концов я увидел свер-

нувшую в этот дворик Машу. Она была в пальто, похожем на стеганое красное одеяло, только более сексуальном. И в надетых по окончании рабочей смены сапогах с трехдюймовыми каблуками, на которых она ухитрялась ходить по снегу, точно Иисус по водам. Маша вообще смахивала на машину с великолепно приспособленной для зимних дорог подвеской. Войдя в кафе, она сняла пальто и села напротив меня.

— Как работа? — спросил я.

— Что у тебя стряслось?

Мне хотелось сказать: «Я не знаю, что я здесь делаю — и не только в России. Мне одиноко, я люблю тебя».

Но я этого не сказал, что тебя, полагаю, не удивит. А сказал, что мне тоскливо, что я немного устал и захотел увидеть ее, надеюсь, она не сердится на меня за неожиданное появление.

— Послушай, — сказала Маша, — в субботу мы собираемся съездить на дачу.

— На дачу?

Русская дача — это место особенное, совсем особенное, что-то вроде пенсионного прибежища тех, кому еще далеко до пенсии, — люди растят там картошку, маринуют лук, удят рыбу. Впрочем, совсем особенное место занимает она и в

сознании россиян, потому что дача — не Москва, там нет автомобильных пробок, уличных девок и милиционеров.

— Она принадлежит деду моей подружки, Ани, однако он на ней никогда не бывает. Там есть баня, мы будем жарить шашлык. С Катей. Ты придешь в себя, отдохнешь.

— Ладно, — сказал я. — Хорошо.

— Только с утра нам придется наведаться в Бутово.

— Зачем?

— Чтобы составить компанию Татьяне Владимировне, — ответила Маша.

— А Татьяна Владимировна ради чего в Бутово едет?

Бутово — пригород, прилепившийся к далекой южной окраине колоссальной столицы. Насколько я понимаю, когда-то он был просто деревней, но потом Москва, разрастаясь, поглотила его — примерно так же, как Лондон засасывает в себя посредством подземки деревни Мидлсекса.

— Татьяна Владимировна, может быть, переберется туда, и в субботу мы поедем с ней, чтобы помочь ей принять решение.

Я вспомнил, как в день, когда Маша и Катя познакомили меня со своей тетушкой, упоминался

некий план. И решил, что, наверное, об этом переезде речь тогда и шла.

Маша опустила под столом ладонь мне на колено, пальцы ее скользнули к внутренней стороне моего бедра.

— Не печалься, Коля, — сказала она. — Я люблю тебя.

В субботу мы втроем пришли к дому Татьяны Владимировны, Маша нажала на кнопку облезлого переговорного устройства и спросила у тетушки, готова ли она. «Всегда готова», — ответила та и впустила нас внутрь, чтобы мы не ждали ее на размокшем снегу. Слова «Всегда готов», пояснила Маша, были лозунгом пионеров — советской разновидности скаутов, — правда, пионеров обучали не только костры разводить, но еще и разоблачать шпионов и доносить на кулаков.

Татьяна Владимировна спустилась к нам в подобии утепленной зимней жакетки — коричневой, стеганой, — в ярко-синем шарфе, митенках и том, что в Луттоне восьмидесятых называли «луноходами». В руках у нее был большой пакет, содержавший, как впоследствии выяснилось, пластиковую посудину с соленой селедкой, несколько сваренных вкрутую яиц и термос

со сладким чаем, — всем этим Татьяна Владимировна принялась потчевать нас, как только мы перешли с «Библиотеки имени Ленина» на линию, ведущую в Бутово, и уселись в вагоне, приготовившись к долгой дороге. В небольшом кулечке из бурой бумаги у нее имелась даже соль для яиц.

— Давным-давно, — шепотом сообщила мне Татьяна Владимировна, — мы с Петром Аркадьевичем часто ездили в Бутово — грибы в лесу собирать и в озере купаться. Тогда метро туда не доходило. Мы ехали автобусом, а после шли пешком.

Мы направляемся в Бутово, объяснила мне Маша, потому что у Татьяны Владимировны есть знакомый, Степан Михайлович, компания которого строит там, на самом краю города, новый жилой квартал, и Татьяна Владимировна подумывает переехать туда. Весной она уйдет из музея, сказала Маша, и хочет выбраться из центра Москвы, где слишком много машин и бандитов, а леса нет совсем. План состоит в том, чтобы обменять ее квартиру у пруда на бутовскую.

По словам Маши, идея квартирного обмена была наследием советских времен. В прошлом квартиры людям не принадлежали, пояснила

она, — им вообще ничего не принадлежало, кроме места на кладбище, да и то не всегда, — однако человек мог обменять свое право жить в одной квартире на чье-то еще право жить в другой. Многие и теперь предпочитают обмен — отчасти потому, что не доверяют себе, боятся, получив за свою собственность наличные, пропить их. В нашем же случае Степан Михайлович, скорее всего, даст Татьяне Владимировне и кое-какие деньги, потому что ее квартира в центре стоит намного больше, чем новая в Бутове. О том, сколько он заплатит, они пока не договорились, детали будут обсуждаться позже. Сегодня нам нужно просто встретиться с ним, посмотреть квартиру, а после вернуться в Москву, купить продуктов и поехать на дачу.

Старая, расположенная под центром города часть московского метро — это та разновидность подземки, какую люди получают, когда ими правит склонный к тиранству маньяк, в распоряжении которого оказывается столько мрамора, оникса и человеческих существ одноразового использования, сколько ему никогда и не снилось. Однако линии метро покидают царство малахита, витражного стекла и бронзовых барельефов и поднимаются на поверхность задолго до Бутова

и подобных ему районов, дальше которых поезда уже не ходят. Когда мы вышли из вагона, нас со всех сторон обступили жилые многоэтажки — белые, персиковые, не похожие на тех уродов, что строились при советской власти, разделенные покрытыми жухлой стерней лужайками.

Мы поймали машину, и, помню, по дороге к нужному нам зданию говоривший с пулеметной скоростью водитель плакался на утрату и молодости своей, и родины. По его словам, в советские времена он был инженером. «В то время, — сообщил он, — китайцы здорово нас надули… А теперь мы раздаем направо-налево все наши природные ресурсы… и каждый, кому за сорок, в России конченый человек». Тут многоэтажки закончились и машина повернула налево.

Дом, к которому мы подъехали, был своего рода вехой, помечавшей конец Москвы. По одну его сторону раскинулась столица со всеми ее сложностями и заботами, а по другую, за дорогой, расположилось то Бутово, которое Татьяна Владимировна помнила с давних времен, — обветшалая российская идиллия из покосившихся домишек и небольших садов пообок или за ними. За домами с их резными оконницами, шаткими заборами и ржавыми крышами различалась

березовая роща, а за нею — хвойный лес, выглядевший так, точно в нем и поныне водились грибы.

Времени было около одиннадцати. В ожидании Степана Михайловича мы переминались с ноги на ногу перед дверью дома. Холод стоял изрядный, но я уже перешел на зимнюю форму одежды — черную горнолыжную куртку-дутик на термоядерной подкладке, благодаря которой кровь моя не застывала даже при температурах, угробивших армию Наполеона. Воздух здесь был не такой злоедучий, как в центре города. Он даже соснами попахивал.

Маша коротко переговорила по сотовому и сообщила:

— Он уже идет сюда, Степан Михайлович.

Минут через пять действительно объявился Степан Михайлович — худощавый, с собранными в маленький хвостик волосами и нервной улыбкой. Лет ему было никак не больше двадцати пяти, но, поскольку очень многие преуспевавшие русские бизнесмены были в то время людьми, едва-едва миновавшими пору полового созревания, меня это особо не удивило. Он пожал руки Маше, Кате и мне, поклонился Татьяне Владимировне. Мы вошли в дом, Степан Михайлович, пересту-

пивший порог последним, зашарил по стене, нащупывая выключатель. Строительство еще не закончилось: стены не крашены, пол в вестибюле не настлан, отопление не работает. Холодно в доме было, по меньшей мере, так же, как на улице. Лифт тоже смонтировать не успели, и потому на восьмой этаж, к квартире, владелицей которой могла вскоре стать Татьяна Владимировна, нам пришлось подниматься по бетонным ступеням, отводя руками в сторону электрические провода, ухитрившиеся каким-то образом вывернуться из крепивших их к потолку кронштейнов. Руку, предложенную мной, Татьяна Владимировна не приняла и во время подъема дважды останавливалась, сгибалась, уперев ладони в колени, и пыталась отдышаться. В здании пахло краской и клеем.

На восьмом этаже Степан Михайлович отпер и, надавив на нее плечом, открыл неподатливую дверь. Квартира тоже готовой пока не была — голые, оштукатуренные стены, — однако понять, во что она со временем обратится, было уже можно: в маленький икеевский рай с широкими окнами, высокими потолками, двумя большими квадратными спальнями и гостиной со встроенной в нее кухонькой. Балконов также имелось два

— один, смотрящий на Москву, в спальне, другой, обращенный к лесу, в гостиной.

— Видите, Татьяна Владимировна, — сказала Маша, когда мы остановились посреди гостиной, — здесь вам не придется, как сейчас, таскать еду из кухни.

Татьяна Владимировна, ничего не ответив, вышла на балкон. Я последовал за ней, постаравшись встать так, чтобы успеть отпрыгнуть назад, если балкон вдруг надумает обвалиться. Сверху хорошо различалась чересполосица земельных участков по другую сторону дороги, пара привязанных к колышкам морозоустойчивых коз и блеск замерзшего озера за деревьями. Я готов был поспорить, что в апреле, между таянием снега и взрывным появлением летней зелени, или в обнаженном октябре этот же вид будет казаться голым, гнетущим. Однако в тот день обломки старых тракторов, выброшенные холодильники, залежи пустых водочных бутылок и трупы домашних животных — все, чем обычно загажена в России пригородная земля, — стало незримым, потонуло в ежегодном снежном забвении. Снег позволяет нам забывать о шрамах и язвах земли — так же, как временная амнезия — о муках нечистой совести.

Татьяна Владимировна глубоко вздохнула. Мне показалось, что она предвкушает оставшийся ей кусочек жизни — неожиданно счастливую коду, которую можно будет посвятить изготовлению столь любимых русскими женщинами сладких компотов, беседам с другими старушками в головных платочках и попыткам притвориться, что последних семидесяти лет просто-напросто не было.

— Вам нравится, Татьяна Владимировна? — окликнула ее Маша.

Татьяна Владимировна снова ничего не ответила, но вернулась в квартиру и, обойдя гостиную, остановилась у прорезанного в боковой стене здания окна, из которого можно было видеть сразу и окраину города, и ближнюю к ней часть сельской местности. Различались за ним и белые башенки построенной в лесу церкви, ее маленькие позолоченные купола с серебристыми православными крестами.

— Пожалуй, — сказала Татьяна Владимировна, — вот тут я письменный стол Петра Аркадьевича и поставлю. Что вы об этом думаете, Николай?

— Думаю, получится очень хорошо, — ответил я. Я действительно думал, что ей будет здесь

хорошо и удобно, — думал, уверен в этом. Но думал как-то вскользь, мельком. Мне не терпелось вернуться в город и поехать на дачу — к бане и к ночи, которая за нею последует.

— Да, — сказала Катя, улыбавшаяся обычной ее загадочной улыбкой. Симпатичный носик девушки порозовел от холода. — Здесь очень мило, Татьяна Владимировна, очень красиво. И воздух такой свежий!

— Степан Михайлович, — Маша подошла к нему, коснулась его руки, — как по-вашему, когда будет готов дом?

— Через месяц, я полагаю, — ответил Степан Михайлович. (Мне этот срок показался чрезмерно оптимистичным, хотя в России ничего заранее сказать невозможно. Здешние люди могут десяток лет купаться в грязи и водке, а потом всего за полдня каким-то чудом возвести небоскреб или расстрелять царскую семью. Если, конечно, возьмутся за дело с душой и побуждения у них будут серьезные.) — Думаю, Татьяна Владимировна будет здесь очень счастлива. Воздух чистый, машин почти нет, и чучмеков тоже.

Татьяна Владимировна улыбнулась и снова вышла на балкон, одна. Я увидел, как она поднесла ладонь в митенке к глазам, и подумал, что

старушка плачет. Впрочем, она стояла спиной ко мне, так что с определенностью я этого сказать не мог.

Я ведь не сделал ничего постыдного, правда? Ничего такого, за что ты могла бы меня укорить? Не сделал. Пока.

Мы вызвались проводить Татьяну Владимировну до дома, однако она от этого предложения отмахнулась. И мы попрощались с ней и оставили ее в вагоне метро, а сами вышли, чтобы перейти на сиреневую ветку и, сделав два перегона, доехать до «Пушкинской». От нее мы прошлись по Большой Бронной к супермаркету, стоявшему рядом с моим домом, на противоположном углу. Я произвел в мясном отделе еще один жест, знакомый, похоже, — вместе с пощелкиванием по шее и постукиванием по невидимым погонам, которому научила меня в «Сказке Востока» Маша, — каждому русскому: вытянул перед собой руки и повертел запястьями, словно покручивая дверные ручки. Продавец мигом понял, что это означает, — шашлык, — и завернул для меня килограмм маринованной баранины. Мы добрались до затейливо разукрашенного Белорусского вокзала, который стоит на противоположной от Бутова оконечности центра, погрузились в приго-

родный поезд и покатили к обещанной мне даче.

Помню, за час, что мы провели в громыхавшем вагоне, перед нами прошло целое карнавальное шествие, правда, довольно обшарпанное: вереница нищих и торговцев в разнос, следовавших один за другим по вагонам, с пивом, ручками, сигаретами, жареными подсолнечными семечками, пиратскими DVD и одеколоном многоцелевого назначения (хочешь — душись, хочешь — пей). Одни играли на аккордеонах, другие рассказывали, как лишились в Чечне ноги либо мужа. Были тут и проститутки, и дезертиры — разносортица жертв эпохи. Я дал сто рублей одетой в легонькое пальтецо старухе с навсегда перекошенным лицом. А где-то около трех, по-моему, часов дня мы сошли с поезда.

И нас обступила красота. Станция представляла собой единственную деревянную платформу на сваях, украшенную старомодной табличкой, на которой значилось не то «Орехово», не то «Полинково», не помню, — одно из тех кокетливых дореволюционных названий, которые частично поменялись, когда в России обобществляли все на свете, и были восстановлены после того, как пала Стена. На платформе было пусто, пар нашего дыхания смешивался, резкие тени, отбрасываемые

нами, ложились на снег. Нас окружал лес, укрытые хлопьями снега ветви деревьев казались засахаренными. Мы направились к лестничке в конце платформы, перешли через лежавшие на деревянных шпалах рельсы — Маша с Катей крепко держались за мои локти — и побрели по почти заметенной тропинке, вившейся между берез, чьи ветки уходили вверх под такими углами, что снегу на них осесть не удавалось, туда, где, судя по всему, обитали люди.

Удивительная все же это страна — Россия, с ее даровитыми грешниками и появляющимися время от времени святыми, самыми настоящими святыми, какие могут рождаться лишь посреди беспредельной жестокости, в безумной мешанине блеска и грязи. Именно это сочетание предстало пред нами и в тот день. Тропинка привела нас в русскую деревню из тех, увидев которые начинаешь думать, что война только-только закончилась, хоть и знаешь, что это не так. Люди потрезвее и поздоровее из них разбегаются, остаются лишь сумасшедшие, преступники и милиционеры. На всю деревню имелся один магазин. Около него стояли два давно наплевавших на свои жизни бородатых мужика, ожидая, надо полагать, третьего, чтобы распить с ним бутылку

водки. Мы зашли внутрь, купили питьевой воды и угля.

Девушки несли уголь и большие, привезенные нами из Москвы пакеты, я — воду: здоровенные пластиковые бутыли, ручки которых врезались в пальцы даже сквозь зимние перчатки. Маша и Катя провели меня по тропинке, которая, миновав серый многоквартирный дом, уперлась в маленькую ржавую калитку. Маша отперла висячий замок большим старым ключом вроде тех, какими погромыхивают тюремщики, и мы вновь возвратились в Россию с рождественской открытки, на которой березы перемежаются пышными соснами, а земля между ними отливает чистой, целомудренной белизной. Пока мы брели по снегу, одна из веток переломилась с похожим на щелчок бича звуком, рикошетной дробью отлетевшим от стволов обступивших нас деревьев. Через сотню метров показалась наполовину замерзшая речушка, струившаяся между выраставшими навстречу друг другу полотнищами льда, и мы перешли ее по мостику, половина досок в нем отсутствовала, а остальные раскачивались, точно ярмарочные качели. Я ощутил себя статистом снимающегося в Сибири фильма про Индиану Джонса.

На другом берегу речушки стояли среди сосен дачи — торчавшие из снега старенькие деревянные домишки. Над трубой одного из них вился дымок, остальные казались нежилыми. Со свесов кровель тянулись к земле похожие на затейливые кинжалы сосульки, людей нигде видно не было.

Наш домик был пятым или шестым в ряду дач, его окружал сад, утопавший в снегу, непорочность которого нарушалась лишь геометрическими отметинами птичьих лап. Домик перекосился под опасным пизанским углом и походил снаружи на одну из фарсовых построек немого кино. Казалось, стоит войти в него, и он развалится, оставив нас стоять в единственной уцелевшей оконной раме, среди безвредных обломков. Однако, когда мы вошли внутрь, дом оказался куда более просторным, чем можно было предположить. В самой первой его комнате высились у стены громадные, давно остановившиеся дедовские часы, их окружали фото предков в грязноватых рамках, с потолка свисала голая лампочка. Имелась здесь и софа, наверное бывшая некогда чьим-то сокровищем, в обивке ее посверкивала золотая нить, а деревянную спинку украшала резьба: аисты в гнездах. Заледеневшее окно спальни, в которой стояла узенькая застлан-

ная кровать, смотрело в промерзший лес.

Маша опустилась у печи на колени и принялась набивать ее поленьями из стоявшей рядом с дверью корзины. Печь была старая, вделанная в стену, с лежанкой — на таких спала когда-то домашняя прислуга. Катя ушла, чтобы растопить баню, находившуюся в отдельной хибарке, которая стояла за главным домом, метрах в двадцати от него, почти уже в лесу. Покончив с печкой, Маша указала мне на мангал — лежавшее под столом металлическое корытце с приставными ножками.

Я развернул привезенное из Москвы мясо, нанизал куски на большие, шершавые от запекшейся корочки шампуры. Вынес мангал и пакет с углем на снег. Постоял в зимнем безмолвии, затем развел огонь. Снова пошел снег, большие невесомые снежинки шипели, опускаясь на раскаленные угли. Стоя у мангала, я ощущал блаженный покой — чувство, время от времени посещающее иностранцев, которые работают в России. В эти минуты я был далеко-далеко от явлений и людей, о которых мне и думать-то не хотелось, — в число последних входил и я сам, так называемый юрист, ведший в покинутом мною Лондоне так называемую жизнь. Тот я, какого ты

теперь знаешь. А тогда я пребывал в местах, где в любой день, хотя бы и в этот, могло произойти все что угодно.

Час примерно спустя мы сидели рядком на софе протопленной дачи, поглощали поджаренную на углях баранину и плоский армянский хлеб, окуная куски мяса и хлеба в горячий грузинский гранатовый соус, и пили из щербатых стопочек охлажденную в снегу водку, запивая ее пивом. Распущенные волосы Маши лежали на ее плечах. Обе девушки ели, словно забыв обо всем на свете, — наследственная, похоже, черта русских людей.

Внезапно Катя произнесла:

— Мне понравился твой друг.

— Это какой же?

— Ну тот, в клубе. В «Распутине». Который нам помог.

— Он мне не друг, — сказал я.

— Может, тебе и стоит с ним подружиться, — заметила Маша. — Он человек полезный.

Она улыбнулась, хоть я и не думаю, что это была шутка. Что ж, прямота ее мне тоже нравилась. Однако о Казаке я разговаривать не хотел.

— А кто такая Аня? — поинтересовался я.

— Кто? — спросила Катя.

— Девушка, деду которой принадлежит эта дача.

— Дачу дед получил, когда работал на железной дороге, — объяснила Катя. — Вся эта земля принадлежала железной дороге, вот она и раздала своим сотрудникам по участку. Однако он здесь никогда не бывал, а Аня живет сейчас в Нижнем Новгороде. По-моему, дед ее уже умер. Она тоже приходится нам сестрой.

— Так у вас еще одна сестра есть?

Девушки улыбнулись. Похоже, они ожидали этого вопроса.

— Понимаешь, Коля, — сказала Маша, — в России слово «сестра» означает не только дочь твоих родителей, но еще и дочь сестры кого-то из них или брата. По-моему, у англичан такая сестра называется как-то иначе, нет?

— Кузина, — сказал я. — Вот уж не думал.

— Да, — подтвердила по-русски Маша. — Кузина. Двоюродная сестра.

— А Катя — она какая тебе сестра? — спросил я.

— Тоже двоюродная, — помолчав немного, ответила Маша.

— Ага, — подтвердила Катя, щеки которой разрумянились от водки и острого соуса. — Кузина.

И она слизала остатки соуса с пальцев.

— И твои родители тоже живут в Мурманске? Как мать Маши?

— Верно, — ответила Катя. — В Мурманске.

Стало быть, они не сестры. Во всяком случае, не такие, как я полагал. И меня впервые охватило в их обществе чувство, которое мне случалось испытывать, когда я обнаруживал вдруг, что водитель пойманной мною машины пьян или не в своем уме, и сидел на заднем сиденье, сжимая ручку дверцы, прикидывая, как бы мне половчее выскочить наружу, и зная при этом, что не выскочу. Так и не выскочил ни разу.

Наверное, я попытался бы тогда расспросить девушек об их семье и родстве, однако Маша опустила свою тарелку на стол и сказала:

— Ну, пошли, баня ждет.

Собственно баню предварял закопченный предбанник — крошечный, размером с большой платяной шкаф, с парой крючков на стене, — в него выходила дверца печи, в которую Катя первым делом загрузила еще пару поленьев. Несколько секунд мы простояли, точно незнакомые друг с другом люди, оказавшиеся в выстуженном лифте. Потом разделись, поневоле сталкиваясь локтями и ягодицами. У девушек обнаружились под одеждой узенькие трусики — мне давно уже

стало казаться, что русских женщин обязывает носить их некий закон, — у Кати розовые с кружавчиками, под стать такому же лифчику, Машиных я уже не помню. Девушки сняли и их. Я стянул с себя выбранные с особым тщанием трусы, сунул очки в один из моих зимних ботинков.

— Ладно, — произнесла Маша, — летим шеметом!

И мы нырнули в жар — торопливо, чтобы он не успел вылететь в дверь.

Здесь не было никаких прикрас, отличавших роскошные бани, в которые я изредка заглядывал с Паоло, — чая с лимоном, питекантропов-массажистов, разговоров, вполголоса ведшихся волосатыми, мощного сложения мужчинами. Однако *эта* баня безусловно запомнилась мне больше всех остальных. В ней стояла грубая самодельная скамья, единственное маленькое оконце пропускало уже тускневший уличный свет. Часть противоположной оконцу стены закрывал лист железа — тыльная сторона печи; на него плескали из маленького ведерка воду, мгновенно обращавшуюся в пар. Жара в бане уже стояла неимоверная. Мы сидели на скамье, стараясь не касаться подошвами раскаленного пола. Мне досталось место самое горячее — у печи, Кате — у

слабо освещавшего ее окошка. Я оказался в одной из тех ситуаций, в каких ты стараешься не смотреть на что-то, но ничего у тебя не получается, и ты утешаешься мыслью, что так, наверное, все и было задумано. Груди у Кати были крепкие, точно у манекена, больше Машиных, а блондинкой она оказалась крашеной.

Мы сидели, плотно прижавшись друг к дружке, пот наш смешивался и стекал на пол.

— Ну, Коля, что ты думаешь о Бутове? — спросила Катя. — Как о доме для Татьяны Владимировны?

— По-моему, место хорошее.

— Не уверена, — произнесла Маша. На длинные ноги ее падал свет, однако лицо оставалось в тени. — Уж больно до него далеко.

Старая квартира Татьяны Владимировны мне нравится больше.

— Но если она все же захочет перебраться туда, — сказала Катя, — ты, наверное, смог бы помочь ей, Коля. С оформлением документов. С юридическими тонкостями. С бумагами на прежнюю квартиру, которую захочет, наверное, получить Степан Михайлович. Она женщина старая, советского закала, и ничего в этом не смыслит.

Разговаривать было трудно, горячий воздух обжигал мне, стоило открыть рот, горло, и потому я сказал только:

— Да.

Пропекались мы в бане минут, наверное, двадцать. Голова моя кружилась от водки, я бы с радостью обошелся и пятью минутами, но не хотел сдаваться первым. В конце концов Маша сказала:

— Ладно, пора освежиться.

— Это как же?

— В снегу, — ответила Катя.

— Попрыгаем в снег, — прибавила Маша.

— А это не опасно? Для сердца. — И я, задыхаясь, ткнул себя в сумраке пальцем в грудь.

— Жизнь вообще опасна, — сказала, обнимая меня мокрой рукой, Маша. — Пережить ее не удавалось еще никому.

Мы скользнули по залитому нашим потом полу к двери, закрыли ее за собой, пересекли предбанник. Маша с Катей нырнули в глубокий снег, лежавший под большой сосной у тыльного забора дачи. Я продрожал секунды три и последовал их примеру.

Ощущение было такое, точно я получил шлепок огромной, размером с меня, ладонью или

меня разом укусили тысячи пчел, — впрочем, проделано это было как-то по-доброму. Сердце на миг встало, однако банный жар уничтожился снегом мгновенно. Мало того, я почувствовал себя удальцом, совершившим нечто отчаянное, — нырнувшим с вышки или ограбившим поезд — и уцелевшим. Мгновенная боль исчезла, успев, однако же, доказать, что я жив, жив каждым дюймом моего тела, — да еще как, живее, чем когда-либо прежде.

В том-то и состоит одно из свойств русских, которое я понял, когда уже было поздно. Они способны на невозможное — на то, чего, по-твоему, сделать им ни за что не удастся, и даже на то, что тебе самому никогда и в голову не придет. Они поджигают занятую французами Москву, травят один другого в зарубежных городах. Проделывают это, а после ведут себя так, будто ровно ничего не произошло. И, прожив в России достаточно долго, ты сам становишься точно таким же.

Когда мы встали, я взглянул на снег, потускневший, но все же светившийся в темноте, и моим плохо видящим без очков глазам представилось, что вмятина, оставленная Машей, очертаниями походит на ангела. Мы бегом вернулись в баню, ступни наши онемели, волосы успели обледе-

неть. Катя схватила свою одежду и голышом понеслась к даче. Я поднял с пола ботинки, но Маша отобрала их, уронила обратно на пол и повела меня назад, в жар.

— В Мурманске у вас тоже баня была? — спросил я, с трудом различая ее в обжигающем мраке.

— Да, — ответила Маша, и это было единственным произнесенным ею словом.

Поначалу она показалась мне странной, холодной, как труп, — почти вся, если не считать губ, — но влажной и возбужденной. Маша была моим личным забвением, предназначенной лишь для меня снежной лавиной, обрушившейся в разреженный воздух бани. И в те минуты она изгнала из моей памяти все: страшненького Казака, тридцать с хвостиком впустую прожитых мною лет и все мои сомнения.

Проснувшись ночью, я понял, что совершенно не знаю, где нахожусь. Помнится, я утешился мыслью, что лежу в моей бирмингемской постели, в последнем из моих студенческих общежитий, стоявшем на довольно опасной улице рядом с «Эджбастоном».[4]

А затем увидел Машу спавшую, накрывшись

[4] Примечания: 4
Крикетный стадион в Бирмингеме.

драными одеялами, рядом со мной на узкой мансардной кровати. Под сиявшей в окне луной светились ее тонкие, светлые, спутанные волосы — и я подумал о любовном послании, начертанном на теле Маши симпатическими чернилами.

Мне хотелось помочиться — ночная слабость, обуявшая меня на четвертом десятке лет, первый, если говорить всерьез, из указателей: «К могиле — туда», подобных в их новизне устрашающим, раскалывающим голову похмельям третьего десятка. Я спустился в одних трусах по скрипучей лестнице, миновал спавшую на софе Катю, влез в ботинки и вышел наружу. Пописал, глядя, как животное тепло извергаемой мной струи плавит снег. В свете луны мне удалось разглядеть даже зеленые листья на дне дыры, прорезанной этой струей в белизне.

Теперь, когда я думаю и пишу о годах, проведенных мной в Москве, та ночь — несмотря на все, что со мной случилось, на все, что я натворил, — представляется мне самой счастливой в моей жизни. Временем, в которое я вернулся бы, если б смог.

Глава седьмая

Живя в Москве, я далеко не один раз слышал, когда шел по улице либо сидел в моей квартире, — или мне казалось, что слышал, — визгливый звук, какой издают черные лондонские такси, тормозя перед «лежачим полицейским» или сворачивая за угол. А в метро мне время от времени хотелось, чтобы человек, которому я нечаянно наступил на ногу, извинился передо мной, как это принято у пассажиров подземки. Отсюда ты, вероятно, сделаешь вывод, что какая-то часть меня скучала по Англии. Да, я жалел иногда, что не могу хотя бы на час или около того оказаться в ней, законопослушной и неторопливой. Однако сожалений этих никогда, даже под самый конец, не хватало для того, чтобы я возжаждал вернуться на родину. Лондон и Луттон больше не были моим настоящим домом.

В ту зиму, в канун Рождества, я ехал по серой слякоти в аэропорт Домодедово — на такси, водителю которого страх как не терпелось поделиться со мной разработанным им научным доказательством того, что русские женщины про-

сто-напросто обязаны быть самыми красивыми в мире, — ну, не считая, может быть, венесуэлок. Насколько я помню, его теория была как-то связана с недостатком мужчин, который Россия испытывала после войны, ведь у них появилась возможность выбирать лучшую из множества женщин, а их избранницы в свой черед рожали красавиц-дочерей — ну и так далее. Похоже, по одному с нами маршруту следовала тогда некая важная шишка, поскольку боковые улицы были забаррикадированы милицейскими машинами, а добравшись до памятника Ленину на Октябрьской, мы надолго застряли под его простертой, заснеженной рукой. В аэропорту я, проходя паспортный контроль, почувствовал облегчение, которое неизменно посещает даже тех, кто любит Москву, — облегчение человека, покидающего Россию с ее хамами-продавцами, грабителями-милиционерами и ужасающим климатом.

До Лондона мы долетели уже затемно. Сверху мне казалось, что огни, сиявшие вдоль улиц, по берегам реки и на футбольных стадионах, зажжены только для меня, в мою честь, в честь всепобеждающего героя корпоративного закона.

Три часа спустя я уже сидел в луттонском домике моих родителей — безмолвно стенал и

отправлял в себя стопку за стопкой виски, которое мой отец покупает в супермаркете. Родители всегда делали над собой усилия, стараясь не слишком приставать ко мне, но ты ведь знаешь, что они за люди, — непонятно как им удается быть одновременно и одинокими, и абсолютно закрытыми. Я приехал прежде брата и сестры и провел ночь в спальне, которую делил с братом, пока тот не уехал учиться в университете. Мама снова заговорила о своем желании навестить меня в России, ей хотелось посмотреть Санкт-Петербург: как там в начале марта? Холодно, ответил я, все еще очень холодно. Отца этот разговор явно раздражал, однако он старался, я видел это, сохранять спокойствие, расспрашивал меня о работе, о том, правда ли Президент России такой плохой человек, как о нем пишут в газетах. Не знаю почему, но, разговаривая со мной, он всегда выглядит втайне разочарованным. Возможно, его гнетут соображения нравственного порядка — то, что моя работа связана скорее с деньгами, чем с попытками усовершенствовать наш мир. А может быть, все наоборот: я, Москва и деньги, которые я зарабатываю, напоминают ему о том, чего сам он так никогда и не достиг, да, собственно, достигнуть и не пытался.

В день Рождества прибыл из Ридинга мой брат с женой и детьми — Уильямом (это он испортил твой *iPod*, когда мы отмечали семидесятилетие отца) и Томасом, — а из Лондона приехала сестра, одна. Мы, как полагается, оделили друг дружку безликими, но практичными подарками: носками, шарфами и, увы, увы, талонами универмагов «Джон Льюис» на приобретение со скидкой того и сего. Я привез русских матрешек, меховые шапки для детей и еще кое-что, закупленное по дешевке в аэропорту.

Все могло сложиться очень мило. Почему бы и нет? Но мы давно разошлись по раздельным путям, и общего у нас не осталось ничего, если не считать парочки смягченных для приличия, слышанных тобой уже дюжину раз анекдотов о гонках верхом на ослах и передозировке мороженого, плюс нескольких стародавних поводов для раздражения, которые, едва мы сходимся вместе, начинают донимать нас, точно зуд в ампутированной конечности. Когда-то мы видели в детях посланный нам второй шанс — во всяком случае, я и мой брат, — однако и дети не оправдали наших надежд. Мы съели по куску индейки, нахваливая нежность ее мяса, зажгли для мальчиков свечи на рождественском пудинге,

потом перебрались, нацепив бумажные шляпы, на ситцевые кушетки гостиной и принялись потреблять приличествующее празднику спиртное — занятие, которое вполне могло довести нас либо до искреннего веселья, либо до покушения на убийство.

Выпивая, мы живо обменивались мнениями о новых ограничениях на парковку машин в центре города, потом завели ритуальный спор о том, стоит ли нам смотреть рождественское обращение королевы к подданным, — отец неизменно желал увидеть его. И, когда зазвонил мой сотовый, мне показалось, что я услышал, сидя в бомбоубежище, сигнал отбоя воздушной тревоги.

— Ну, как там Англия, Коля?

У меня голова закружилась от восторга — даже затошнило немножко.

— Хорошо. В порядке. А как Москва?

— Москва, она и есть Москва, — ответила Маша. — Плохие дороги и очень много дураков. Я соскучилась. Сижу на работе и вспоминаю тебя. И по ночам тоже вспоминаю, Коля.

— Секундочку, — сказал я по-русски.

То была машинальная попытка маскировки, несомненно более разоблачительная, чем про-

должение разговора по-английски. Я вылетел из гостиной так, точно мне позвонила вдруг школьная возлюбленная. Проскочил на кухню, где мать держала на дверце холодильника — под магнитиком, изображавшим Даремский собор, — листок с телефонными номерами ее чад. На подоконнике лежала рождественская телепрограмма; передачи, которые маме хотелось посмотреть, были отмечены трагическими звездочками. Меня, как и всегда, удручила петля времени, по которой вечно кружила наша семья, обратная перемотка его ленты, возвращающая меня к исполнению роли, из которой я давно вырос.

— Я тоже все время тебя вспоминаю, — сказал я. — Родителям о тебе рассказал.

Последнее было враньем, просто мне казалось, что ей приятно будет это услышать. Но первое враньем не было. Я уже думал о ней и о себе как о персонажах реальной жизни, а обо всех остальных — как о людях далеких и значения не имеющих. Я старался посвящать ее во все, что со мной случалось, как если бы то, о чем она не узнает, на самом-то деле и не происходило. Ты понимаешь?

Я задал несколько вопросов о Кате, о жившей в Мурманске Машиной маме, о Татьяне Влади-

мировне.

— Послушай, Коля, — сказала она, — может, ты привезешь тетушке какой-нибудь новогодний подарок? Думаю, она их теперь не часто получает.

— Конечно, — ответил я. — Отличная мысль. Непременно. А что лучше привезти?

— Придумай сам, Коля. Что-нибудь английское.

Разговор получился долгим, многое из него я уже забыл, но помню слова Маши:

— До скорого, Коля. Я думаю о тебе. Люблю тебя.

Когда я возвратился в гостиную, все сразу отвели от меня глаза, демонстрируя напускное безразличие. И я почувствовал себя попавшим в западню — знаешь, так бывает, когда в самолете тебе приносят еду и ты проглатываешь ее, а после возможность подманить стюардессу, чтобы она унесла твой поднос и ты смог бы подняться из кресла, начинает казаться тебе самой важной вещью на свете. А под всем этим крылось, как я полагаю, понимание того, что я мог пойти по той же дорожке, какая выпала моим родителям, и страх, что так оно, возможно, еще и случится, что жить собственной жизнью мне все равно

нипочем не удастся.

Мы сидели, глядя на детей, жаждая, чтобы они проделали что-нибудь на редкость приятное или эксцентричное. Я прожил у родителей до второго дня Рождества, а потом сдвинул день моего отлета на неделю назад, чтобы вернуться домой, в Москву, еще до Нового года.

Торопливо выбравшись из толчеи долговязых русских юнцов, сражавшихся у багажной карусели за чемоданы своих родителей, я вышел в зал прилета и увидел сутолоку уголовного обличия таксистов, солдат специфически русской каждодневной войны, — войны каждого со всеми. А затем, зарегистрировав мое прибытие, купил билет на электричку до Москвы.

Морозище стоял здоровенный, выйдя после поезда и метро в волглый подземный переход, а из него на обледенелую площадь Пушкина, я словно попал в самую настоящую морозильную камеру Холод ощущали даже зубы мои, не говоря уж обо всем остальном. Когда я уезжал в Англию, было теплее — градусов около десяти. Помню, я шел по бульвару к дому и пар моего дыхания замерзал в воздухе совсем не так, как до Рождества, — теперь он густел, обращаясь в осязаемый ледяной туман. Лицо — там, где его

не защищали ни поднятый воротник, ни низко надвинутая шапка, — сначала жгло, а потом оно начало неметь. Ноздри смерзлись изнутри, волоски в них льнули один к другому в поисках тепла и спасения. Электронный термометр на «Макдоналдсе» сообщал: минус двадцать семь. Холодно было до того, что на улице почти никто не курил. Гаишников переобули в старомодные валенки — то была традиционная русская предосторожность, позволявшая им не остаться без ног, пока они топчутся на мостовой, вымогая у водителей взятки.

Из дома я позвонил Маше, договорился о встрече Нового года с ней и Катей — и, может быть, с Татьяной Владимировной, во всяком случае, на первых порах. До наступления установленных законом десятидневных новогодних каникул, периода всероссийской гулянки, именовавшегося моими коллегами «горнолыжным отпуском олигархов», оставалось еще два рабочих дня. Заняться мне было нечем, и на следующий после приезда день я отправился к нам в офис.

— Этот наш долбаный инспектор, — произнес Паоло, как только я вошел и закрыл за собой дверь. Внизу под его окнами оранжевые люди вгрызались в белый простор Павелецкой пло-

щади, точно армия разгневанных муравьев. — И долбаный Казак.

— С наступающим, Паоло.

— Все почти сделано, — продолжал он. — Наш клиент почти счастлив. Все почти счастливы. Кроме нашего инспектора. Где он, Николас?

— Понятия не имею.

— Знаешь, временами мне начинает хотеться, чтобы я вообще никакого Казака в глаза никогда не видел. Почему нам должно было достаться финансирование именно этого строительства, а? И почему британские Виргинские острова? Куда ни повернись, везде британские Виргинские острова. Кстати, как ты съездил?

Глава восьмая

Сказать по правде, в те дни даже банковских служащих не особенно заботило, удастся их банкам вернуть свои денежки или не удастся. Они получали дополнительные вознаграждения за то, что раздавали эти деньги, и всегда существовала вероятность, что, прежде чем русские или еще какие-нибудь их должники обанкротятся, служащие эти либо найдут другую работу, либо пойдут на повышение. Каждому западному банку отчаянно хотелось вести дела в Москве — просто потому, что все остальные, казалось, уже вели таковые и в большинстве своем не задавались вопросом о том, куда могут пойти ссужаемые ими деньги. В половине случаев банкиры, одалживая средства гигантским энергетическим или металлургическим корпорациям, вообще никаких гарантий их возврата не требовали: русские купались в нефтяных долларах, да и хозяева этих корпораций знали же, что, играя по-честному, они, хозяева, в конечном счете лишь разбогатеют еще пуще, ведь так?

И все же, поскольку созданная ради того кон-

кретного проекта компания Казака была совсем новой и кредитного послужного списка не имела, существовали определенные моменты, требовавшие полной ясности. Мы уже получили письма от губернатора края, подтверждавшего поддержку им этого проекта. «Народнефть» подписала многообещающие соглашения, касавшиеся как объемов нефти, которую компания будет перекачивать со своих северных месторождений на нефтеналивной причал, так и экспортных цен. Мы получили также официальные «заявления о заинтересованности» от перспективных голландских и американских покупателей нефти. Банки застраховались от политического риска (то есть на случаи экспроприаций и государственных переворотов). Основной договор о ссуде выглядел защищенным практически от всего на свете.

Однако и этого было недостаточно для того, чтобы банки выдали первую часть кредита. Нам требовался доклад Вячеслава Александровича, нашего инспектора, подтверждающий и пригодность выбранного для причала места, и то, что нулевой этап строительства протекает по плану. И доклад этот требовался незамедлительно, иначе банки не успеют перевести деньги — сто пятьдесят, сколько я помню, миллионов долла-

ров или около того — до конца года.

Казаку деньги нужны были, что называется, вчера, иначе он, по его словам, не смог бы выполнить свои обязательства перед строителями и поставщиками. Да и банковским служащим хотелось выдать их поскорее, потому что, если дело затянется до следующего года, это скажется на их бонусе. Однако имелась одна неувязка. В декабре Вячеслав Александрович выехал наконец в Арктику. И пропал.

Мы боялись, что он мог провалиться в прорубь или свести в баре гостиницы знакомство с какой-нибудь нехорошей дамочкой. Казак уверял, что прорубей в тех местах нет, что все наверняка образуется, он в этом не сомневается. И в самый канун Нового года пригласил нас в московский головной офис «Роснефти» — на встречу, посвященную подписанию последних документов, которые необходимо было послать в Лондон и Нью-Йорк, чтобы банки смогли перевести сюда деньги. Паоло на встречу пойти согласился. Сказал, что, по его мнению, она будет пустой тратой времени, но на работе нам все равно заняться нечем. С собой он взял меня и Сергея Борисовича.

«Роснефть» больше походит на государство,

чем на компанию. Помимо скважин, трубопроводов и танкеров она владеет гостиницами, самолетами и футбольными командами. Ей принадлежат санатории на Кавказе и остров в Карибском море. В Финском заливе у нее имеется собственная подводная лодка, мало того, по слухам, в ее распоряжении находится парочка космических спутников. Кроме того, компания управляет несколькими борделями и держит на жалованье наемных убийц. В то время поговаривали также, что она платит немалые деньги половине членов российского парламента. А еще «Народнефть» могла похвастаться причудливым главным зданием центрального офиса на юге Москвы — построенное в девяностых, которые, судя по всему, были для русской архитектуры эпохой наибольшей эксцентричности, оно походит на воткнувшуюся носом в землю космическую ракету. Паоло, Сергей и я подъехали к этой башне довольно рано, около половины девятого утра. Был канун Нового года, последнего для меня Нового года в России.

Обычно, покидая зимой помещение или машину, ты еще двадцать-тридцать секунд холода не ощущаешь, тебя словно бы продолжает согревать только что оставленное тепло, преходящая

иллюзия комфорта, — примерно так же курица, которой отрубили голову, какое-то время бегает и только потом соображает, что уже умерла. При минус двадцати семи тебе подобная благодать не светит — ноздри промерзают мгновенно, а глаза немедля начинают слезиться. Мы едва ли не бегом устремились в стоявшую перед комплексом зданий «Народнефти» будку службы безопасности, предъявили наши паспорта, затем миновали ухоженный двор с замерзшими фонтанами и вошли в главное здание. Рыжеволосая, одетая в зеленое мини-платье «встречающая» провела нас в лифт, а из него в комнату для переговоров, находившуюся на самом верху кормовой части «ракеты». На столе у одной из стен переговорной мы увидели несколько бутылок водки, стопки и кусочки селедки с воткнутыми в них зубочистками. Из огромного, от пола до потолка, окна открывался вид на промерзший город. Небо было таким же белым, как устилавший землю снег, — может быть, даже белее, поскольку выхлопным газам добраться до него не удавалось.

Девушка села в стоявшее у противоположной стены кресло, улыбнулась нам. Сергей Борисович отведал селедки. Мы ждали, стараясь в сторону девушки не смотреть.

Казак появился примерно через час, около половины десятого. Его сопровождала пара адвокатов, а с ними заместитель генерального директора «Народнефти», человек, если судить по внешности, лет девятнадцати. Позже я узнал, что он приходится зятем главе российской военной разведки. Казак прошептал что-то девушке и прихлопнул ее, когда она повернулась, чтобы уйти, по попке.

— Водочки? — по-русски спросил он.

— *Extrême*, — ответил Сергей Борисович.

— Нет, спасибо, — отказался я.

— Да бросьте, — сказал Казак, — Новый год на носу.

— Сначала дело, — сказал Паоло, — а уж потом выпьем.

Распознать в Паоло московского ветерана было несложно, следовало лишь знать, под каким углом на него смотреть. На приемы он приходил около полуночи; приехав в аэропорт, несся, точно обуянное паникой животное, к столу паспортного контроля, чтобы не стоять потом в очереди; выходил покурить под открытое небо даже при минус двадцати и никогда ничему не удивлялся.

— Ладно, — согласился Казак.

Мы уселись за круглый стол. Казак пошептался

с одним из адвокатов, тот вышел из комнаты и минут через пять вернулся. Началось неторопливое обсуждение разного рода юридических тонкостей. А минут двадцать спустя зазвонил сотовый Паоло.

— Может, — сказал Казак, — у нас, наконец, и хорошие новости появятся.

Паоло поднес телефон к уху и отошел, чтобы поговорить, к окну. Я услышал, как он спросил: «Где вы?» Далее последовало несколько итальянских ругательств. Затем, прикрыв трубку ладонью, Паоло спросил, каков номер стоявшего в переговорной телефона. Один из юристов «Народнефти» продиктовал номер, Паоло повторил его в трубку и прервал разговор.

— Вячеслав Александрович, — сообщил он, снова усаживаясь за стол. — Звонил из Сочи.

Возможно, тебе это известно и без меня, но город Сочи стоит на берегу Черного моря, примерно в трех тысячах километров от тех мест, в которых полагалось находиться Вячеславу Александровичу.

— Он сейчас перезвонит.

И тут же в центре круглого стола зазвонил телефон. Казак протянул к нему руку и включил громкую связь.

Вячеслав Александрович сказал, что очень сожалеет о случившемся, попросил простить его — срочное семейное дело, больше такое не повторится. Оснований для беспокойства у нас нет, продолжал Вячеслав Александрович: он побывал со своими помощниками в Арктике, собственно говоря, провел там почти неделю, все идет нормально. Строители обгоняют график и не выходят из пределов бюджета. Они приступили к сварке трубопровода, который пойдет от берега к плавучему нефтяному причалу, оборудование для первой насосной станции поступило, и, как только погода улучшится, начнется ее монтаж. Супертанкер стоит в сухом доке, переоборудование его уже начато (корпус переделывается так, чтобы принимать с одного борта поступающую по трубопроводу нефть, а с другого — закачивать ее в суда покупателей). На дне моря выбран участок, где будут закреплены двенадцать якорей, которым предстоит удерживать супертанкер на месте. Все это описано в его официальном отчете, который он только что закончил и который мы вскоре получим. Говорил Вячеслав Александрович около двадцати минут, сыпля результатами произведенных им замеров и статистическими данными — децибарами, баррелями в день, мет-

рами в секунду, тоннами в год. Затем еще раз извинился и положил трубку.

Паоло, Сергей Борисович и я отъехали в креслах от стола, чтобы посовещаться.

— Как по-твоему, это кошерно? — негромко спросил у меня Паоло.

— Позвонил он в самое подходящее время, — ответил я.

— И что он делает в Сочи? — поинтересовался Сергей Борисович.

— Да, но, с другой стороны, — сказал Паоло, — он явно знает, о чем говорит. Телефонный звонок или его отчет — нам это, в общем, без разницы.

— У нас ведь есть и другие гарантии, — добавил я.

— Опять же, и Новый год на носу, — сказал Сергей Борисович.

Теперь мне уже не вспомнить в точности, о чем мы думали во время той встречи. Уверен, мы хотели дать нашим банкирам то, что им, как нам было известно, требовалось, а именно разрешить их проблемы и не создать новых. Мы понимали, что Казак — проходимец. Однако по ковбойским нормам того времени в этом ничего незаконного не было. А с Вячеславом Александровичем мы уже работали. Документы, которые он для нас

составлял, всегда были в полном порядке. И что самое главное, за проектом стояла «Народнефть», а где-то за «Народнефтью» маячил сам Президент России. Конечно, нам следовало понимать, что Стив Уолш прав: Казак и его друзья-приятели из Кремля, или из ФСБ, или уж не знаю откуда наверняка постараются нагреть на этом деле руки. Но я уверен: мы не сомневались тогда, что нашим банкам ничто не грозит.

И Паоло принял решение.

— Хорошо, — сказал он, — подписываем.

Подписав бумаги, он снова отошел к окну, чтобы вытащить главного нашего банкира из его манхэттенской постели и сообщить ему хорошую новость. Русские повели нас к водке с селедкой. Мы чокнулись стопочками.

Все были довольны — и банки, и Паоло. И Казак. *Этот* был доволен до крайности. Он пригласил меня и Паоло на Алтай, поохотиться. Пообещал научить стрелять из гранатомета. Какой фильм о Джеймсе Бонде нравится мне больше всего? — поинтересовался он. А то, что рассказывали о Фредди Меркьюри, — это все правда? Задним числом я думаю, что он считал свой способ ведения дел нормальным, — нормальным было то, что мы выпивали, шутили, рассказывали друг другу о

наших семьях, а после он делал то, что сделать-то все равно следовало.

Думаю, он считал, что все мы — друзья.

— Ну что, Николай, — спросил Казак, — когда к нам-то выберетесь? Ваша новая жена ждет вас не дождется. Хотя, с другой стороны, мне и московские ваши жены тоже понравились.

Он подмигнул мне — от этого подмигивания смутно пахнуло шантажом — и опрокинул в себя еще одну стопку водки.

Паоло пригласил нас на праздничный ланч в узбекский ресторан «Веселый верблюд пустыни» на Неглинке. Чтобы попасть туда, мы с Сергеем Борисовичем запрыгнули в «Волгу», которую поймали прямо у «Павелецкой башни». Огромный, жовиальный водитель ее пытался освоить английский язык: вытащил из бардачка самоучитель, пристроил его на руль и время от времени записывал, не сбавляя хода, слова, звучание которых ему понравилось («*lunch… Wild West… unsecured loan… leveraged buy-out… ExxonMobil*»[5]). Думаю, машину он вел по эхолокатору У дверей ресторана стоял дрожащий чернокожий швей-

[5] Примечания: 5

Ланч… Дикий Запад… необеспеченный заем… приобретение за счет заемных средств… «Эксон-Мобил» *(англ.).*

цар в костюме белого медведя. В гардеробной сидели в крошечных клетках два обреченных петушка, готовясь выклевать один другому глаза во время новогоднего празднества. В зале ресторана извивалась пара исполнительниц танца живота. Одна была маленькой блондинкой с резкими движениями, похожей скорее на подрабатывающую в свободное время стриптизершу, ничего в восточных танцах не смыслящую, — впрочем, из трусиков ее уже торчали во множестве сторублевые бумажки; другая — толстой, натуральной брюнеткой. Они поочередно вращали животами, однако внимания на них никто, похоже, не обращал.

Наша татарочка, Ольга, повела себя со мной по-свойски: сняла с меня очки, подышала на них, протерла, но, видимо, недвусмысленных феромонов я не источал — а может, у меня изо рта дурно пахло, — так или иначе, она быстро переключилась на Паоло. Пока мы ели, Сергей Борисович рассказывал, как он пытался уклониться от призыва в армию, которая в России представляет собой либо предлог для проявлений массового садизма, либо приятную возможность использования рабского труда. У его родных было на выбор две возможности: заплатить отвечавшему

за призыв офицеру, чтобы тот отпустил Сергея Борисовича, или мошеннику-врачу, который объявил бы его инвалидом. Родные, рассказывал Сергей Борисович, заплатили офицеру — десять тысяч долларов, а тот их надул и все равно призвал его. В итоге пришлось платить и врачу.

— И что вы после этого стали думать? — поинтересовался я. — Об армии, я имею в виду. Ну и о России. После того, как офицер обманул вас.

Сергей Борисович отвернул в сторону смахивавшее на картофелину лицо и секунд на двадцать задумался.

— Ну, — наконец ответил он, — наверное, нам следовало начать с врача.

И тут, именно в этот миг, я увидел ее — Катю. Она обслуживала столики на другом конце ресторана. Короткая черная юбка официантки, простая белая блузка, аккуратно уложенные волосы. Поначалу я не поверил глазам, а поверив, встал из-за столика и перехватил ее, когда она уносила на кухню блюдо с остатками фруктов.

— Здравствуй, Катя, — сказал я.

— Через две минуты снаружи, — по-русски ответила она. — Пожарный выход, рядом с баром.

Стоять на таком морозе было самоубийством. Катя, выйдя в наряде официантки и чьем-то

наброшенном поверх него пальто, крепко обхватила себя руками.

— Коля, — не тратя время на предисловия, начала она по-английски, но несколько неуверенно, — не говори Маше, что видел меня здесь. Прошу тебя, Коля. Пожалуйста. Мне нужны деньги на учебу, но Маша ничего о моей работе не знает. А если узнает, рассердится.

Она положила ладонь, которую прятала в рукаве пальто, чуть выше моего бедра и без улыбки посмотрела мне в лицо. Еще минута — и мы лишимся всех конечностей до единой.

— Хорошо, — согласился я, ощущая жалость к ней, а этого она, скорее всего, и добивалась: чтобы я пожалел ее, вынужденную не только учиться, но еще и работать, чтобы устыдился того, что мне удалось вытянуть в жизни соломинку, которая длиннее доставшейся ей. — Обещаю. До вечера.

Мы вошли в ресторан.

Позже, когда наше такси ползло в плотном потоке машин к Павелецкой, мне пришла в полупьяную голову мысль из тех, которые мы принимаем порою за озарения. Они же просто дети, подумал я, эти русские с их затемненными окнами машин, с их «Узи». Подростки со склонностью к насилию — все, от телохранителей Казака

до бряцающего оружием президента. При всей их суетности и страданиях, думал я тогда, русские — просто дети.

— Стыд и позор, — пошутила Татьяна Владимировна, когда мы расселись по ее гостиной, — такой мороз, а войны нет.

Было девять вечера — последнего вечера года. Снаружи — на бульваре и у пруда — орали и бросались друг в друга шутихами подростки. Наряд официантки Катя, разумеется, оставила в ресторане — и на ней, и на Маше были юбки, сказавшие мне, что нам предстоит куда-то отправиться. Такой, как в тот день, прически я у Маши еще не видел: она зачесала волосы назад, собрала в хвост и свернула его в клубок — прическа подчеркивала зелень ее глаз и строгость рта. При встрече она чмокнула меня в мочку уха. Татьяна Владимировна снова потратилась на закуски. Когда я вручил ей привезенные из Англии подарки — шотландское печенье, лондонский шоколад и чай «Эрл Грей» в жестянке, изображавшей двухэтажный автобус, — мне на секунду показалось, что она того и гляди расплачется.

Жестянку Татьяна Владимировна поставила на полку, рядом с черно-белой фотографией, ее и Петра Аркадьевича. Я успел протрезветь по-

сле узбекского ресторана — как раз к вечерним тостам. Мы выпили за Новый год, за любовь, за англо-русскую дружбу. Когда мы чокались, у Кати приподнимался подол кофточки, и, помню, я заметил, что у нее проколот пупок.

Мы обсудили план обмена квартир.

Татьяна Владимировна говорила, волнуясь и нервничая. Где там покупают продукты? — спросила она. И что, если дом в Бутове не достроят вовремя? Конечно, ей хочется выбраться из центра, она слишком стара для него, устала, но, с другой стороны, ведь столько лет здесь прожила и ничего другого не знает.

Маша сказала, что Степан Михайлович уверен: к апрелю бутовский дом готов будет. Однако для большей надежности, продолжала она, с подписанием договора лучше повременить до конца мая, а то и начала июня. К лету Татьяна Владимировна туда так или иначе, а переберется.

Следом она объяснила, что, прежде чем заключать сделку, Татьяне Владимировне и Степану Михайловичу придется собрать кое-какие важные документы. Доказательства того, что квартиры действительно принадлежат им, что приватизация квартиры Татьяны Владимировны была проведена в соответствии с законом.

Потребуется свидетельство о том, что ее дом не предназначен на снос в ходе одной из архитектурных вырубок, производимых мэром Москвы: мэр может внезапно обречь здание на смерть, и брат его супруги получит изрядные комиссионные, построив на месте этого дома другой. Понадобится также документ, удостоверяющий, что никто, кроме Татьяны Владимировны, в ее квартире не прописан, — кто-нибудь, скажем, сидящий сейчас в тюрьме или брошенный муж, способный вдруг вылезти из кустов и заявить о своих правах на жилплощадь. (В России, видишь ли, человек не может просто поселиться там, где ему захочется, — вот как мы с тобой в Кенсингтоне. Он должен зарегистрироваться по определенному адресу, чтобы власти знали, где его можно найти.) Ну и еще понадобится техническая документация на каждую из квартир: поэтажные планы зданий, схемы канализации, водопровода и так далее. Обычно, пояснила Маша, такие документы собирает риелтор, берущий за это бешеные деньги.

— Но ведь ты, Коля, — по-русски сказала она, — обещал помочь Татьяне Владимировне с оформлением документов, правда?

— Да, конечно, — ответил я.

Я дал это обещание в бане, и никто из нас о нем не забыл.

— Вы настоящий английский джентльмен, — сказала Татьяна Владимировна. — Нам так повезло, что мы познакомились с вами.

— Ну что вы, — ответил я.

Мы договорились, что после долгих новогодних каникул первым делом отправимся, прямо с утра, к нотариусу и оформим доверенность, которая позволит мне предпринимать различные шаги от имени Татьяны Владимировны.

За пару минут до полуночи Татьяна Владимировна откупорила бутылку сладкого до липкости крымского шампанского. Мы стояли у окна и смотрели, как над крышей волшебного здания за прудом взрываются в небе фейерверки.

— Да почиет на вас длань Божия, — сказала вдруг Татьяна Владимировна.

Мы распрощались с ней, как только смогли сделать это, не показавшись невежливыми, — а может, и раньше, — поймали машину, которой правил прыщавый юноша лет, судя по его виду, шестнадцати. Он провез нас по бульварам, пересек Тверскую, проехал мимо казино Нового Арбата, сиявших в зимней ночи точно оазисы в ледяной пустыне, и через замерзшую реку — к

гостинице «Украина».

Гостиница располагалась в одной из построенных в сталинской Москве готических башен — угрюмые статуи на фасаде, а внутри грузинские бандиты, второразрядные молдавские проститутки и явно неуместные здесь группы провинциальных школьников-экскурсантов. Скользя по обледенелому тротуару, — девушки вонзали каблучки в лед — мы обошли вокруг здания, оказались на его задах, поднялись по пожарной лестнице и нажали на кнопку звонка. Маша произнесла пароль, которым поделился с ней кто-то из коллег, и нас впустили в огромный, нелегальный ночной клуб.

Вышли мы из него около четырех утра — Маша поехала со мной, Катя отправилась в их квартиру. Я все уговаривал Машу сводить меня туда, однако она отказывалась. Так и не сводила. В то время я полагал, что она просто-напросто стыдится своего жилья.

Глава девятая

В утро первого после новогодних каникул рабочего дня — сколько я помню, это было 10 января или около того — я и Татьяна Владимировна отправились, как между нами и было условлено, к нотариусу, чтобы оформить доверенность. Маше пришлось пойти на работу в ее магазин, поэтому сопровождала нас Катя.

Профессия нотариуса — одна из самых завидных в Москве, сравнимая только с профессиями застройщиков, грузинских рестораторов и проституток. По сути дела, нотариусы — бессмысленные чиновники, уцелевшие со времен царизма, вся их работа сводится к составлению и штемпелеванию юридических документов, без которых в России невозможно сделать почти ничего. Выбранная нами нотариальная контора размещалась в старом здании цирка, стоящем чуть севернее самого сердца столицы. По-видимому, когда перестала играть прежняя музыка, а империя зла развалилась и у русских осталась лишь доля секунды, чтобы приглядеться друг к другу, прежде чем зацапать кто что сможет,

этот нотариус сумел каким-то образом завладеть помещением, которое в прежние времена занимали акробаты и укротители львов.

Мы одолели, оскальзываясь, тротуар перед цирком. Татьяна Владимировна передвигалась быстрее, чем я, стихия зимы была такой же родной для нее, как вода для пингвина. Затем, пройдя по темному коридору цирка, уселись в приемной нотариуса. На стене висела большая, горделивая карта Советского Союза. Насколько я понимаю, часть работы нотариусов как раз в том и состоит, чтобы принуждать людей ждать. Любой русский, обладающий хоть какой-нибудь властью над вами (нотариус, врач «скорой помощи», официант), просто обязан заставлять вас томиться в ожидании, прежде чем вы получите от него какую ни на есть помощь, и каждый россиянин отлично это знает.

Пока мы сидели, Татьяна Владимировна рассказывала мне, как впервые побывала в этом цирке больше сорока лет назад. В тот раз она увидела на арене двух слонов и льва.

— Один слон вставал на задние ноги, — вспоминала она, улыбаясь и, чтобы показать, как он это делал, сжимая перед собой ладони на манер хомячка. — Увидев его, мы с Петром Аркадьевичем

окончательно поняли, что перебрались в Москву, в столицу мира. Слон, это ж надо!

Я спросил, не скучала ли она здесь по Сибири, по родной деревне под Ленинградом.

— Конечно, скучала, — ответила она. — По лесу. И по людям. В Сибири люди совсем другие. Да и увидела я в Москве много такого, чего мне лучше было не видеть. Не одних только слонов.

Катя оторвала взгляд от эпического смс, которое она вводила в свой сотовый, и попросила Татьяну Владимировну не докучать мне разговорами. Я сказал, что она мне вовсе не докучает, что мне очень интересно. Вот чем я больше всего нравился себе в Москве — мне было интересно, да и сам я был участливее, благороднее, быть может, большинства работавших там юристов-иностранцев, которые обычно проводят в России два-три года, ни на что не обращая внимания, а затем возвращаются назад, чтобы служить более респектабельным мошенникам Лондона или Нью-Йорка, а то и стать партнером какой-нибудь «Крючкотвор & Крючкотвор», обзаведясь, однако ж, в Москве весьма удобным офшорным банковским счетом и несколькими историями о встреченных на Диком Востоке девках с «Калашниковыми», — эти истории они и рассказывают

затем до конца своих дней попутчикам по пригородным поездам, которыми ездят на работу и с работы.

Я спросил, как она жила в то время — в сталинскую эпоху и во время войны. Вопрос был глупый, я понимаю, но мне он казался очень важным.

— Существовало три правила, — ответила Татьяна Владимировна, — и тот, кто их соблюдал, мог уцелеть — если ему повезет.

И старушка перечислила эти правила, загибая короткие морщинистые пальцы правой руки:

— Во-первых, не верь ни одному их слову. Во-вторых, не бойся. В-третьих, никогда ничего от них не принимай.

— Кроме квартиры, — сказал я.

— Кроме квартиры.

— Вы что-то сказали о квартире? — спросила, снова оторвавшись от телефона, Катя.

— Да нет, — ответила, улыбнувшись, Татьяна Владимировна.

Я спросил, что она думает о нынешнем прощелыге президенте (таком же, насколько я мог судить, массовом убийце, как и все, кто возглавлял страну до него). Она ответила, что человек он хороший, но — единственный хороший среди массы плохих, а в одиночку решить хотя бы

одну из проблем страны ему не по силам. Теперь Татьяна Владимировна говорила вполголоса, оглядываясь по сторонам, хотя ничего неуважительного в словах ее не было. А вас не смущает, спросил я, что люди, которые стоят у власти, половину времени только тем и занимаются, что крадут? Да, ответила она, конечно, смущает, но сажать в Кремль новых людей бессмысленно, потому что и они начнут красть. Нынешние, по крайней мере, уже разбогатели и потому могут позволить себе иногда думать о чем-то, кроме денег.

А как она считает, спросил я, жизнь сейчас лучше, чем была прежде? Да, сказала она, лучше, хотя бы для некоторых. И уж точно лучше для людей молодых, добавила Татьяна Владимировна и посмотрела, улыбнувшись, на Катю.

Разговор прервался — запищал Катин телефон. Она прочитала полученное сообщение, с секунду подумала, нахмурившись, и сказала:

— Мне надо уйти. — И, наклонившись к самому моему уху, прошептала по-английски: — Пожалуйста, Коля, не говори Маше, что я вас бросила. Мне нужно поскорее в университет.

Затем она встала и прибавила — снова по-английски, чтобы Татьяна Владимировна не поняла

сказанного:

— Не забывай, Коля, она — старая женщина и временами совершает ошибки.

После чего надела пальто и ушла.

Если не считать тех пятнадцати минут, которые мы провели в цирке, в приемной, ожидая вызова нотариуса, мне довелось разговаривать с Татьяной Владимировной наедине всего один раз. Но к тому времени, как я теперь понимаю, было уже поздно, я слишком увяз, прошел слишком длинный путь от меня прежнего ко мне нынешнему Думаю, впрочем (вернее сказать, надеюсь), что в то январское утро я «нынешним» еще не был — не вполне. И верю, то есть опять-таки надеюсь, что если бы я не сидел тогда в молчании, улыбаясь и наблюдая за тем, как растекается по паркету вода, в которую обращался снег с нашей обуви, а задал пару простых вопросов, все могло бы сложиться иначе.

В конце концов я спросил у нее о друге Олега Николаевича:

— Татьяна Владимировна, я понимаю, что таких совпадений почти не бывает, и все же хочу спросить, не знакомы ли вы со стариком по имени Константин Андреевич? Он живет неподалеку от меня.

— Секундочку, — ответила она и, закрыв глаза, прижала пальцы к вискам. — Константин Андреевич… не уверена. А кто он?

— Друг моего соседа, Олега Николаевича. Он куда-то пропал, и мы никак не можем его найти.

— Нет, — сказала она, — по-моему, я такого не знаю. Простите.

И мы замолчали снова.

— Еще раз спасибо вам за печенье и чай, — произнесла, просто чтобы нарушить молчание, Татьяна Владимировна. — Так приятно получить что-то по-настоящему английское.

— Может быть, вам еще доведется увидеть Англию своими глазами, — сказал я. — Букингемский дворец. Лондонский Тауэр.

— Может быть, — согласилась она.

И тут нотариус крикнула:

— Следующий!

В узкой комнате сидели, за своим столом каждая, две женщины. Окно там было, сколько я помню, одно, за ржавыми прутьями решетки виднелась серо-белая улица. Стоял прекрасный день середины зимы, с чистым небом, сиявшим средиземноморской синевой, — мы с тобой видели такое, когда отдыхали в Италии. Женщина, сидевшая за столом справа, — своего рода про-

межуточное звено эволюционной цепи, которая соединяет нормальных человеческих существ с нотариусом, — была молода. А вот женщина постарше, ее начальница, — избыток веса, очки, кардиган, волосистая бородавка — вела себя до того грубо, что в любой другой стране ты заподозрила бы, что попала на съемки заранее отрепетированной сцены и где-то тут спрятана камера.

Она взяла наши паспорта, начала заполнять бланк доверенности. И чуть не взвизгнула от радости, увидев, что имя в моем паспорте выглядит не так, как записанное мной в ее регистрационной книге, но приуныла, когда я объяснил, что в паспорте на первом месте стоит фамилия. А закончив, шлепнула печатью по двум копиям доверенности, подтолкнула их к нам по столу, не взглянув на нас, и велела заплатить ее помощнице четыреста рублей. Татьяна Владимировна взяла одну копию, я другую. Теперь я мог подписывать от ее имени любые связанные с обменом квартир документы. Отныне вся процедура обмена зависела от меня.

Мы спустились в метро, Татьяна Владимировна собиралась вернуться домой, я — поехать на работу, куда уже сильно опоздал. Она поблагода-

рила меня, поцеловала на прощание в обе щеки. И вперевалочку пошла к эскалатору.

По какой-то причине в память мою врезалась сцена у билетной кассы — так иногда случается с картинами, которые тебе совершенно не нужны, и, может быть, как раз по причине ненужности их и случается. У кассы переругивались двое мужчин, один — здоровенный русский, другой — наголо обритый, яростный, почти шарообразный кавказец. Русский все повторял раз за разом, очень громко: «Отдай мне нож, Ника, отдай нож».

В тот вечер явно расстроенный чем-то Олег Николаевич поджидал меня на своей лестничной площадке. Увидев, что ни пальто, ни шапки на нем нет и, стало быть, выходить из дому он не собирается, я сразу сообразил: поджидает, никак не иначе. Олег Николаевич стоял у своей двери, и лицо у него было как у родственника больного, который ждет врача и подозревает, что новости тот ему сообщит самые печальные. Он попытался улыбнуться, спросил, как я поживаю. Я ответил, что хорошо, только очень устал. Его это не остановило.

— Николай Иванович, — сказал он, — мне придется снова попросить вас об услуге.

Я понял: речь пойдет все о том же старике.

— Олег Николаевич, — сказал я, — простите, но что еще я могу сделать?

— Пожалуйста, Николай Иванович, сходите в дом, где живет мой друг. Просто посмотрите, что там. Мне кажется, в его квартире кто-то есть. Я стоял на лестнице, вверху, и слышал, как из нее выходили. Прошу вас.

Я посмотрел Олегу Николаевичу в глаза, он отвел взгляд в сторону. Я понимал, ему неудобно просить меня. Теперь, задним числом, я думаю, что для него главным в этой истории был не старый друг, но его, Олега Николаевича, сопротивление переменам, борьба со временем. Ему хотелось сохранить свою жизнь — и настолько долго, насколько удастся — такой, к какой он привык: с его другом, котом, книгами, с его обыкновениями. Думаю, по этой причине он и остался в центре города, а не сдал свое жилье, чтобы существовать на получаемые от съемщиков деньги, — так поступили многие русские старики, владевшие такой же, как у него, квартирой (все прочее их, менее осязаемое, достояние сгинуло во время экономической резни девяностых). Олегу Николаевичу просто-напросто хотелось остановить часы.

— Ну хорошо, — сдался я. — Где он живет?

Олег Николаевич назвал мне адрес, который я помню до сих пор: Калининская (не столько улица, сколько проулок, идущий вдоль ограды церкви, которая стояла между моим домом и бульваром), дом девять, квартира тридцать два.

— Значит, дорога такая: отсюда прямо, потом, за церковью, налево, первый же дом, правильно?

— В России, — ответил Олег Николаевич, — нет дорог — только направления.[6]

Я снова надел шапку и перчатки, спустился вниз. Прошел по моей улице в сторону бульвара, свернул на Калининскую. Уже стемнело, единственными живыми существами, встретившимися мне по дороге, были вороны на мусорном баке. Лед, наросший под водосточными трубами, казался в свете уличных фонарей черным.

Подойдя к двери дома, в котором жил Константин Андреевич, я начал жать на кнопки всех квартир подряд, как делают это в страшные зимние ночи московские бездомные — в надежде, что кто-нибудь, из беспечности, сострадания или просто спьяну, впустит их и они смогут поспать на лестнице. Кто-то ответил на мой звонок и

---

[6] Примечания: 6
Слова Наполеона.

послал меня куда подальше, но дверь тем не менее отпер — может быть, ненароком, — и я полез вверх по лестнице, огибавшей забранную проволочной сеткой шахту лифта. И добрался до квартиры Константина Андреевича.

Я услышал по другую ее сторону звуки какого-то движения. Нажал на кнопку звонка — мужской голос пробормотал нечто неразборчивое, затем тихо взвизгнули, проехавшись по неизбежному паркету, подошвы обуви. Мужчина остановился сантиметрах в двадцати от двери; легко скрипнула кожаная куртка, это он наклонился, чтобы посмотреть на меня в дверной глазок. По сиплому дыханию его я понял, что он заядлый курильщик. Он находился в такой близи от меня, что мог бы пожать мне руку — или зарезать.

Так мы простояли лицом к лицу, но не видя друг друга, лет сто, показалось мне, хотя в действительности прошло, наверное, не больше тридцати секунд. Потом мужчина за дверью рыгнул, сплюнул. Смахивало на то, что он хоть и считает себя обязанным притворяться, будто его нет в квартире, но на самом деле хочет, чтобы я сколь возможно яснее понял: плевать ему, узнает кто-нибудь вроде меня, что он там, или не узнает. Я повернулся и стал спускаться по лестнице,

поначалу медленно, но вскоре заторопился и уже перешагивал по две ступеньки зараз — как человек, убегающий от медведя и надеющийся, что медведь не поймет, до чего тот перепуган.

На первом этаже я увидел старуху, доставав-шую газеты из разломанного почтового ящика.

— Простите, вы не знаете, кто сейчас живет в тридцать второй квартире? — по-русски спросил я. — В квартире Константина Андреевича.

— Меньше знаешь, — ответила она, не взглянув на меня, — дольше живешь.

— Ну пожалуйста, — попросил я.

Она повернулась ко мне — пронзительные глаза, белая поросль на подбородке.

— Вы кто?

— Николас Платт. Друг Константина Андре-евича.

— Ми-истер Платт, — произнесла она. — По-мо-ему, там его сын живет. Так мне сказали.

— Вы его видели?

— Может, и видела.

— Как он выглядит?

— Не помню.

Снаружи, в каньонах, образованных старыми доходными домами, бесновался ветер, снег летел мне в лицо, у меня мгновенно потекло из носа и

заслезились глаза. Шапку я, непонятно почему не надел. Если не поспешить, можно остаться без ушей. Я поднялся по лестнице моего дома, сбивая о ступени снег с ботинок, позвонил в дверь Олега Николаевича и, как только он открыл, спросил:

— Олег Николаевич, у Константина Андреевича есть сын?

Он отрицательно покачал головой.

Я постоял немного, не зная, что сказать, но понимая: какие-то слова произнести необходимо, и, сообразив вдруг, что мне не известно имя его кота, спросил, как того зовут.

— Джордж, — ответил Олег Николаевич и закрыл дверь.

Глава десятая

— Ты знаешь, как это делается? Серьезными людьми? Для начала они подыскивают какого-нибудь алкаша или бродягу, дают ему пятьсот долларов, фотографию жертвы и обещают еще пять сотен после окончания работы. Бродяга думает: какого черта, с такими деньгами я смогу целый год купаться в мете или антифризе. Ну и приканчивает жертву кирпичом либо ножом в ее подъезде или в каком-нибудь переулке. Хотя если он эстет, то может воспользоваться и пневматическим пистолетом, переделанным где-нибудь в Литве в боевой.

— Почему в Литве?

— Ты слушай, слушай, это еще не конец. Тут все просчитано, Ник. Потом заказчик дает десять тысяч долларов профессионалу, чтобы тот убрал побродяжку — аккуратно, понимаешь? — пистолет с глушителем, контрольный выстрел в голову, все по классу люкс. В итоге живая ниточка, которая связывала заказчика с первой жертвой, обрывается. *Finito*.[7]

---

[7] Примечания: 7
Кончено *(ит.)*.

Тут Стив, насколько я помню, примолк, чтобы понаблюдать за двумя длинноногими рыжими девушками, гонявшимися одна за другой вокруг стриптизного шеста, который возвышался за моим левым плечом, — одна была одета зайчихой (эластичные уши, белый мохнатый хвостик), а другая медведицей (когти, лифчик из медвежьей шкуры, маленький бурый медвежий нос). «Русское Сафари». По-моему, так назывался этот стрип-клуб.

— Ишь ты, — произнес Стив и поднял к губам бокал.

Разговор об убийствах начался, когда я спросил, как поживает большая статья о российской энергетической системе, над которой он работал осенью. Ее не стали печатать, редактору газеты пригрозили обвинением в клевете, он испугался. Впрочем, Стив находился в то время в Сибири, в одном из ее глухих краев, в три раза превосходящих Европу размерами. Температура там была — градусов тридцать семь, Стив едва не отморозил намертво ноги. А оказался он там потому, что месяц с небольшим назад губернатору края ударила в голову непонятно какая жидкость и он объявил войну коррупции, рассердил кого-то в Министерстве внутренних дел и вскоре был

найден мертвым в бане, стоящей в парке при его доме. Самоубийство, пояснил Стив, во всяком случае, если верить местной прокуратуре и местным газетам. Губернатор выстрелил себе в голову — дважды.

Мы посмеялись. Научиться смеяться — в России это пара пустяков.

Вот после этого он и принялся рассказывать мне, как устроен российский рынок заказных убийств. Цены на нем ползут вверх, сказал Стив. Ты можешь, конечно, попробовать нанять кого-то из бывших чеченских повстанцев, однако тебе придется иметь дело и с их друзьями из армии, продающими им оружие, а это добавит не один ноль к цифре, которая будет стоять в предъявленном тебе счете. Сейчас, чтобы найти убийцу, стоящего меньше десяти тысяч долларов, сообщил он, нужно ехать в Екатеринбург или хотя бы в Калугу. Инфляция. Кошмар, сказал я.

Медведица изловила Зайчиху — или наоборот, — и они принялись пожирать друг дружку. А когда покончили с этим, на Зайчихе только и осталось что авиаторские очки да туфельки на высоком каблуке — в них она и свисала с верхней поперечины шеста, обвив ее лодыжками. Довольный Стив снова глотнул красного вина.

Наверное, мне следует признаться, что в первый мой московский год, а может, и немного дольше я слишком часто заглядывал в клубы наподобие этого — в «Мистер XXX», «Golden-Girls», «Голодную Кошку». Такие посещения стали едва ли не частью моей работы. В прежней моей, лондонской, жизни я пару раз бывал в одном стриптизном заведении Клеркенуэлла — на мальчишниках, — но и не более того. Однако в Москве каждый, казалось, обладатель детородного члена и кредитной карточки — все до единого иностранные юристы и банкиры, плюс половина тех русских, которые могли себе это позволить — проводили один, самое малое, вечер в неделю, засовывая рубли в украшенные блестками трусики. Впрочем, в конце концов такое времяпрепровождение стало представляться несколько унизительным — мне, я имею в виду, а не клубным девицам. К тому же со мной произошел пренеприятнейший случай: бармен вставил в мой счет дико дорогие коктейли, которых я и в глаза не видел, а когда я заспорил с ним, вышибалы выволокли меня во дворик за кухней и малость потаскали по нему за волосы — пока с меня не слетели очки и я не согласился раскошелиться. А потом появилась Маша, которой мне

было более чем достаточно. Таких чувств я ни к одной девушке давно уже не испытывал. Как правило, даже когда какая-то из них нравилась мне, я, проведя с нею месяц-другой, обнаруживал, что начинаю поглядывать по сторонам в поисках следующей. Но Маша, как мне представлялось, постоянно менялась к лучшему: становилась все более страстной и по-хорошему самолюбивой. Я думал, что мы с ней настоящие: два встретившихся в темноте живых существа.

Вот почему я уже несколько месяцев не погружался в слегка отдававшую гомосексуальностью атмосферу стрпп-клуба с ее всеобщим полупьяным половым возбуждением. Однако Стиву захотелось пойти именно сюда — мы и пошли.

— Ну а как там любовь всей твоей жизни? — поинтересовался он. — Та, которую ты встретил в метро?

— С ней все хорошо.

— Она к тебе еще не переехала?

— Нет. Ну, почти. Хотя нет. Пока еще нет.

— А старушка из Мурманска? Она уже скоро прибудет?

— Отлипни, Стив.

Разговор этот происходил, я думаю, в начале февраля. Снег, лежавший во дворе церкви, что

стояла между моим домом и бульваром, уже доходил мне до пояса, а на той стороне улицы, которую никто не чистил, его навалило еще и побольше. У Маши действительно все было хорошо, собственно, все было хорошо у нас обоих. К этому времени она оставалась ночевать у меня по два-три раза в неделю. Я начал набивать холодильник ее излюбленными продуктами: солеными грибами, виноградным соком и похожим на йогурт русским молочным напитком, к которому мне привыкнуть так и не удалось. Нанял уборщицу-белоруску, чтобы она поддерживала в квартире относительный порядок и чистоту. На этой стадии наших отношений Маша могла уже и переехать ко мне — и, наверное, переехала бы, живи мы в Лондоне, где, как нам с тобой хорошо известно, прагматичность и рынок жилья помогают вожделению обращаться в верность и проецируют настоящее в будущее, отчего романтические отношения приводят к практическим результатам. От станции «Пушкинская» Маша добиралась до своего магазина у Третьяковской галереи в четыре раза быстрее, чем от ее квартиры на Ленинградском проспекте. Однако она молчала, а я на нее не давил.

— У нее есть сестра, — сказал я Стиву, — Катя.

Блондинка, милая девушка. Ей двадцать лет. Кажется сразу и невинной, и взрослой. Студентка МГУ Тебе она понравилась бы.

— Похоже на то.

— Правда, сестра она не родная — кузина.

— Ага, — сказал Стив.

На сцену за моей спиной поднялись официантки в коротеньких «леопардовых» платьицах и высоких сапогах из змеиной кожи, каждый час исполнявшие здесь «танец джунглей». Внимание Стива переключилось на них.

— Знаешь, что странно? — сказал я. — Перед самым Новым годом, после того как мы подписали контракт с Казаком, я и еще несколько человек с моей работы пошли в узбекский ресторан на Неглинной. И выяснилось, что Катя работает там официанткой.

Она попросила меня не говорить Маше, что я ее видел.

Я не рассказал Стиву о нашей первой ночи — о наблюдавшей за нами Кате. Да и никому другому тоже. Мне и хотелось бы рассказать, это с каждым мужчиной бывает. Но куда сильнее хотелось видеть в нас с Машей нечто особенное, отличающее нас от всех, — и может быть, даже чистое.

— Когда приносишь их домой и разворачи-

ваешь, — сказал слушавший меня вполуха Стив, — обычно оказывается, что в них чего-то не доложили.

Я начал рассказывать о знакомстве с Машиной тетушкой, о Бутове — о том, что Татьяне Владимировне хочется выбраться из центра, и о том, как я помогаю ей с этим. Мне приходилось отстаивать очереди к чиновникам, посещать учреждения, которые открываются для приема посетителей только на два часа и только в один четверг из двух. Я вынужден был проделывать и то и другое, чтобы подписать необходимые бумаги, но, как правило, если существовала такая возможность, поручал это нашей татарочке Ольге — она совсем недавно купила маленькую квартирку и хорошо разбиралась во всех формальностях. Я дал Ольге адреса и нынешней квартиры Татьяны Владимировны, и предполагаемой бутовской — Казанская, дом сорок шесть, квартира двадцать три, — поскольку требовалось оформить и те документы, что были связаны с ней. Ольге я пообещал в награду за ее труды вечер с коктейлями в совершенно грабительском баре, который находился на верхнем этаже гостиницы неподалеку от Большого театра.

— Времени это отнимает не так уж и мно-

го, — сказал я Стиву, — и ничего мне не стоит. А старуха она очень милая. Пережила Ленинградскую блокаду.

— Ага, — отозвался Стив. Чтобы отвлечь его от «танца джунглей», Татьяне Владимировне следовало сбросить лет пятьдесят — это самое малое.

Пришлось и мне наблюдать за танцем. Грязноватая кабинка, в которой мы сидели, находилась слева от сцены. Через несколько минут барабанная дробь смолкла, официантки снова надели сброшенные ими платьица. Стив зааплодировал.

А потом спросил меня о Казаке:

— Тебе известно, чьи интересы он представляет? Твой приятель Казак.

— А сам ты как думаешь?

— Скорее всего, заместителя главы Президентской администрации. Или председателя Совета безопасности. Власть переходит в руки петербургской команды, и старые бандиты из Министерства обороны начинают нервничать. Пытаются прибрать к рукам немного наличности, пока они еще имеют такую возможность. Думаю, в этой недавно созданной компании у них имеется своя доля, которая принесет им впоследствии денежки на карманные расходы.

— Возможно, — согласился я. — Но и мы не

так уж наивны, Стив. Ты, может, и прав, однако проект осуществляется в соответствии с графиком, а это все, что нас волнует. Через несколько недель они получат второй денежный транш, а еще через пару месяцев — последний. Первая нефть должна пройти через причал в конце лета. И, если они не начнут возвращать кредит позже следующей весны, заработает пункт о штрафах.

— Я не сомневаюсь, Ник, вы знаете, что делаете. Но, раз уж мы заговорили об этом, должен тебе сказать, что я навел кое-какие справки. Ты говорил, что кроме «Народнефти» в вашем деле замешана фирма материально-технического снабжения, так? Это пустышка. Никто о ней не слышал. Готов поспорить, вся ее снабженческая деятельность сводится к перекачиванию денег на какой-то счет в Лихтенштейне. Если узнаешь, кто за ней стоит, дай мне знать.

— Не исключено, Стив.

Между столиками уже маршировала тройка девиц в красноармейских ушанках, с бутафорскими автоматами (по крайней мере, я счел их бутафорскими) и патронташами, прилаженными к их телам так, чтобы не скрыть ничего, способного заинтересовать завсегдатаев клуба. Обилие силикона и почти полное отсутствие растител-

ности на теле.

— Ты на Кавказ не собираешься? — спросил я Стива. Из новостей было ясно, что там — в одном из тех хлопотных мусульманских районов, где кто-нибудь постоянно восставал или погибал, — опять становится жарко.

— Наверное, — ответил Стив. — Хотя продать статью о тамошних делах сейчас непросто. Лондонский отдел новостей проявляет интерес, только если у числа погибших появляется на конце три нуля. А русские стараются никого туда не пускать. Приходится ехать на границу с Чечней, платить, чтобы тебя пропустили. Может, на следующей неделе и поеду. Грех не посетить такое шоу.

В кабинки рядом с туалетами зашло по туристу — один с Зайчихой, другой с Медведицей. Раз уж я решил рассказать тебе все, следует признаться, что и мне тоже доводилось проделывать такие штуки. Три, если не ошибаюсь, раза я платил за них в Москве. Первый раз почти случайно: когда я понял, чего от меня ожидают, было уже поздно, да и сам я зашел слишком далеко и остановиться не мог. В другие два раза — после нарушения мной, таким манером, табу — я уже думал: «А какого дьявола?» И как-то раз, еще в самом нача-

ле, я уговорил одну украинскую манекенщицу поехать ко мне и вовсе задаром, да еще и в мое рабочее время. Не осуждай меня. В Лондоне я никогда бы так не поступил. По крайней мере, не осуждай *сейчас.*

— Ты когда-нибудь думал об этом? — спросил я. — О том, как мы здесь живем? О том, что сказала бы, увидев тебя, твоя мать?

— Моя мать умерла.

— Ты же понимаешь, о чем я.

— Россия, — сказал Стив, вдруг посерьезнев и обратив ко мне налитые кровью глаза, — похожа на «лариам». Знаешь, это такое лекарство от малярии, из-за которого одним больным начинают сниться дикие сны, а другие, бывает, и из окошек выпрыгивают. Если ты из тех, кто подвержен приступам тревоги и мучается чувством вины, тебе здесь делать нечего. Не стоит принимать Россию ни в каких дозах. Потому что ты просто сломаешься.

— По-моему, ты говорил, что Россия похожа на полоний.

— Правда?

Стив снова отвлекся. Глаза его были прикованы к стриптизному шесту, вокруг которого блондинка в «стетсоне» и кожаных ковбойских гамашах

— и все — гоняла, размахивая лассо, маленькое стадо брюнеток в лифчиках из воловьей кожи. Стив помахал рукой официантке и пристукнул пальцем по своему пустому бокалу — ему потребовалась новая порция молдавского «мерло».

Глава одиннадцатая

Где-то в середине февраля Татьяна Владимировна еще раз съездила в Бутово, кажется, в сопровождении Кати. Я увиделся с нею и с девушками сразу после их возвращения оттуда, когда мы отправились в раскинувшийся над замерзшей Москвой-рекой парк Коломенское, чтобы покататься на лыжах. Ты, наверное, думала, что на лыжах я стоять не умею, верно? И была совершенно права.

Мы оставили Татьяну Владимировну в грязноватом кафе у входа в парк — угощаться чаем с блинами. Маша и Катя принесли лыжи с собой, они были подлиннее и поуже тех, что запомнились мне с университетских еще времен, когда я провел неделю на горнолыжном курорте (пьяное веселье, использование умывальной раковины нашего шале в качестве унитаза, растянутая лодыжка). Я же получил в стоявшей за воротами палатке лыжи прокатные К этому времени снег, сгребавшийся на моей улице к ограде церкви, начал напоминать твой любимый многослойный итальянский десерт: беловатый сверху, кремо-

вый пониже, затем слой в желтых пятнах, словно на него аккумулятор протек, затем ощетинившийся всякой дрянью (разбитыми бутылками, пластиковыми пакетами, разрозненными, выброшенными за ненадобностью башмаками — все это в беловатой, затвердевшей, пропитанной песком лаве) и, наконец, — основание из зловещей черной мути. Однако в Коломенском снег пока оставался белым, до глупого белым. Под верхним пушистым, дюймовым примерно, слоем он был жестким, слежавшимся, и падать на него, а я проделывал это при каждом спуске со склона или подъеме, было больно. Пару раз с меня слетали очки, и мне приходилось, чтобы найти их, шарить в снегу руками в меховых перчатках.

Маша с Катей словно на лыжах и родились — скользили с такой же естественностью, с какой ходили на высоких каблуках или танцевали. Когда я падал, они смеялись, но замедляли ход, чтобы я мог их нагнать. В парке стояла посреди дубовой рощицы деревянная беседка, построенная, предположительно, самим Петром Великим, и старинный храм, возведенный в честь — как это здесь принято — какой-то загадочной победы над поляками. Храм был закрыт и окружен строительными лесами, его ремонтировали, —

впрочем, с горизонтальных дощатых лесов свисали длинные, походившие на ожерелье из моржовых бивней, сосульки. По парку разъезжал в запряженных тремя белыми лошадьми санях с бубенцами мужчина — предлагал желающим покататься. Девушки были в лыжных костюмах: тонкие непромокаемые штаны и облегающие куртки. Я же, одетый слишком тепло, скоро весь взмок. Впрочем, когда мы поднялись на гребень, шедший вдоль затаившегося в безлиственном лесу замерзшего пруда, я мигом забыл об этом. Зрелище было ошеломительно прекрасное.

Когда мы вернулись в кафе, девушки поочередно удалились в уборную, чтобы переодеться в джинсы и причесаться, а я тем временем сидел, оттаивая, с Татьяной Владимировной.

— Вы хорошо справляетесь, Коля, — сказала она, когда мы, все четверо, расположились наконец за столиком. — Скоро станете одним из наших. Настоящим русским.

— Может, на лыжах он стоять и не умеет, — сказала Маша, — зато баню любит.

Она взглянула на меня и улыбнулась уголком рта. То была улыбка плотского торжества. Я покраснел.

Татьяна Владимировна рассказала о своей по-

ездке в Бутово. Ей как-то не показалось, что над ее квартирой серьезно поработали, сообщила она. Впрочем, Степан Михайлович объяснил, что рабочие занимались электропроводкой, а самое главное, сказала Татьяна Владимировна, когда повсюду лежит снег, там так хорошо, так хорошо: протоптанные в снегу тропинки вьются среди деревьев и вокруг озера — в лесу, который растет напротив ее дома.

Во времена ее детства, продолжала Татьяна Владимировна, в деревне, еще до переезда в Ленинград, они сами делали себе лыжи из древесной коры. И много чего мариновали на зиму в больших бутылях: капусту, свеклу, помидоры; а в ноябре резали свинью, мяса которой семье хватало почти до весны. Семья была бедной, рассказывала она, но не догадывалась об этом. А я вдруг увидел на ее верхней губе светлые волоски, которых раньше не замечал. И подумал: может, она их обесцвечивала?

— Знаете, — сказала она, — из окна бутовской квартиры видна церковь. Вам известно, что это за церковь, Коля?

Я видел церковь, о которой говорила Татьяна Владимировна, — белые стены, золоченые купола, — но не знал, в честь какого святого или царя

ее возвели.

— Это церковь особенная, — сообщила старушка, — построенная в память о людях, убитых при Сталине. Говорят, в том месте двадцать тысяч человек расстреляли. А может, и больше. Точно никто не знает… Я не такая верующая, какой была моя мать, веру мы утратили в Ленинграде. Но по-моему хорошо, что я смогу видеть из моего окна этот храм.

Я не знал, что сказать. Маша и Катя тоже молчали. Окна кафе сильно запотели, покрылись потеками.

И вдруг Татьяна Владимировна спросила:

— Скажите, Коля, вам хочется иметь детей?

Не знаю почему, может быть, причина была как-то связана с тем, что жизнь продолжается, — или следует хотя бы верить в это, — но ее вопрос показался мне естественнейшим образом связанным со «сталинской» церковью и общими могилами. Я старался не смотреть в сторону Маши, но чувствовал, что лицо ее чуть отвернуто от меня и что она не отрывает глаз от своей чашки с чаем.

— Не знаю, Татьяна Владимировна, — ответил я. — Наверное.

Вообще-то, я сказал неправду. На моих ставших

отцами знакомых я всегда смотрел, ощущая смесь презрения с животным ужасом. А за их детьми, ползавшими по полу и хватавшимися за что ни попадя, за целеустремленными, но какими-то бессвязными, черепашьими движениями этих младенцев наблюдал, и вовсе никаких чувств не испытывая. Ты не беспокойся, сейчас все иначе. Я знаю, ты хочешь детей, и это дело решенное.

А в тот день я, не задумываясь, произнес слова, которые, казалось мне, хотела услышать Маша, — как хочет большинство женщин. Если бы она сказала тогда, что беременна, я, пожалуй, решился бы сохранить ребенка, может быть, даже обрадовался — не самому ребенку, но мысли, что отныне мы с ней связаны навсегда. И в то же время, я гадаю сейчас, не знал ли я, в самой глубине души, что счастливый конец нам не уготован, что на самом-то деле больше всего мне нравится в ней умение жить настоящей минутой. Думаю, я видел, что в ней чего-то не хватает — или присутствует что-то лишнее, — хоть и старался этого не замечать.

— Я хочу детей, — сказала Катя. — Шестерых. А может, и семерых. Но только когда покончу с учебой.

Ну что за простая душа, подумал я, открытая

книга, волшебная, просто-напросто сказка.

— А вот Машу, — любовно произнесла Татьяна Владимировна, — я себе матерью не представляю.

— Я тоже хочу детей, — отозвалась, так и не подняв глаз, глухо и напряженно, Маша. — Но только не в Москве.

— Машенька, — сказала Татьяна Владимировна и коснулась одной рукой моей ладони, а другой Машиной, — если я и хотела бы что-то изменить в моей жизни, так именно это. Нам с Петром Аркадьевичем не посчастливилось, — разумеется, у него было столько работы, и жизнь мы с ним прожили хорошую, но под конец…

— Хватит об этом! — выпалила Маша и отняла у нее свою ладонь.

Глаза Татьяны Владимировны перебегали с Маши на меня и обратно. Пол под нашими ногами стал скользким от растаявшего снега.

Мы заказали водку и «селедку под шубой» (соленую рыбу под слоем свеклы и майонеза). Начался разговор о том, что уже сделано для квартирного обмена.

Я сказал, что все вопросы, связанные с правами собственности, вроде бы улажены. Что все необходимые нам документы мы сможем получить в

течение следующей недели.

— Спасибо, Николас, — сказала Татьяна Владимировна. — Большое вам спасибо.

Дальше разговор пошел о деньгах.

По-моему, денежные вопросы они обсуждали в моем присутствии впервые. Маша сказала, что, поскольку квартира в Бутове стоит меньше, чем та, в которой живет Татьяна Владимировна, Степан Михайлович готов заплатить ей пятьдесят тысяч долларов. (Тогда в Москве все, в том числе и взятки, исчислялось в долларах, по крайней мере, если речь шла о серьезных деньгах, хотя любые юридически законные сделки оценивались в рублях.)

Однако пятидесяти тысяч долларов было маловато. Такие, как у Татьяны Владимировны, расположенные в центре квартиры пользовались немалым спросом и у купавшихся в нефти иностранцев, и у богатых русских, норовивших селить любовниц поближе к своим офисам. В Москве можно было найти отнюдь не одну бутылку вина, стоившую почти столько же, сколько предлагал Степан Михайлович, и немало людей, жизнь которых стоила намного меньше. Впрочем, Татьяне Владимировне пятьдесят тысяч долларов представлялись чем-то таким же потря-

сающим, как двадцать тысяч человек, лежавших, один пласт на другом, под снегом Бутова.

Поначалу старушка вообще сказала — нет, она просто не понимает, что ей делать с такими деньгами. Потом согласилась: это верно, пенсии ей не хватает, да ее никому не хватает, — хотя, с другой стороны, она кое-что скопила за годы работы, к тому же государство платит ей пособие как участнице Ленинградской блокады и еще кое-что за вклад ее мужа в успехи теперь уже не существующей страны Советов. И все же было бы замечательно иметь возможность съездить как-нибудь в Петербург…

— Вот и возьмите эти деньги, — сказала Маша.

— Возьмите, — сказала Катя.

— Татьяна Владимировна, — поддержал их я, — по-моему, вам следует взять их.

Она обвела наши лица взглядом, хлопнула в ладоши и сказала:

— Возьму Глядишь, еще и в Нью-Йорк махну! Или в Лондон! — И подмигнула мне.

Мы рассмеялись, подняли рюмки.

— За нас! — сказала Татьяна Владимировна и одним глотком осушила свою. Потом улыбнулась, и тонкая кожа, все еще обтягивавшая ее высокие русские скулы, на миг показалась мне точно

такой же, как у счастливой молодой женщины с крымской фотографии 1956 года.

В тот февраль — примерно за две недели до приезда моей матери — меня сразила убийственная московская простуда. Симптомы ее являлись ко мне по одному, будто музыканты, исполняющие каждый свое соло, прежде чем соединиться в финале музыкального произведения: сначала потекло из носа, затем засаднило в горле, следом заболела голова, а уж потом я свалился. Маша выписала мне рецепт: мед, коньяк и никакого орального секса. И я провел два-три дня в постели, просматривая без всякого воодушевления DVD с американскими фильмами, слушая пробивавшийся сквозь окно скрежет лопат о лед, лязг допотопных мусоровозов и доносившийся с лестницы скорбный мяв Джорджа.

Когда я вернулся в офис на Павелецкой, наша татарочка Ольга присела на краешек моего рабочего стола и перебрала вместе со мной все, какие у нас к тому времени скопились, документы, касавшиеся квартиры Татьяны Владимировны. В одном говорилось, что приватизация квартиры была проведена в соответствии с законом. Другой удостоверял, что правом жить в квартире никто, кроме нее, не обладает. В одной из бумаг рядом

с именем Татьяны Владимировны стояло имя ее мужа, но кто-то вычеркнул его и оттиснул поверх слово «скончался». У нас имелся также технический паспорт с указанием размеров комнат, общего плана квартиры, подробностей насчет водоснабжения, канализации и электропитания. Документы пестрели печатями, как абстрактная картина пятнами краски. Столько бумажек, подумал я, а квартира ей все-таки по-настоящему не принадлежит. Ничто в России не принадлежит человеку по-настоящему. Царь, или президент, или кто-то другой, стоящий у власти, может, если захочет, вмиг отнять у него все, в том числе и жизнь.

— Что нам еще потребуется? — спросил я у Ольги.

— Только бумага о праве собственности, ее выдает отдел регистрации этих прав. Ну и старушке придется получить у врача справку о том, что она не алкоголичка и не слабоумная.

Последнее необходимо, пояснила Ольга, потому, что русские иногда продают свои квартиры, а несколько месяцев спустя заявляют, будто сделали это под воздействием наркотиков или в состоянии опьянения либо помутнения рассудка, и требуют аннулировать продажу и вернуть им

квартиру Или вдруг объявляется какой-нибудь всеми давно забытый племянник и подает подобного рода жалобу от их имени. В российском суде можно доказать все что угодно, были бы деньги, однако справка из поликлиники делает такие фокусы более затруднительными.

Я сказал ей, что она ангел.

— Не такой уж и ангел, — ответила она, и в голосе ее прозвучала скорее печаль, чем стремление пококетничать со мной.

— А что с квартирой в Бутове?

— С ней мы тоже неплохо продвинулись. Дом построен самым законным образом, на территории, которая находится в ведении правительства Москвы. В квартире старушки, в двадцать третьей, никто не прописан. К канализации, водопроводу и электросети дом подключен. Принадлежит он компании «Мосстройинвест».

Я сказал, что, по моим сведениям, квартира принадлежит Степану Михайловичу.

— Может быть, «Мосстройинвест» — это его компания, — ответила Ольга.

Она помахала перед моим носом пачкой документов, точно приманкой, и спросила:

— Так когда мы коктейли пить пойдем?

Я вспомнил о том, что сказал мне Паоло вскоре

после моего приезда в Москву. Он сказал, что у него имеются для меня две новости относительно жизни иностранного юриста в России: хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что здесь существует несметное множество бессмысленных, туманных и противоречащих один другому законов. Хорошая — в том, что никто не ожидает от тебя их соблюдения. И я подумал: наверняка же найдется возможность обойти «Мосстройинвест» стороной.

— Скоро, — ответил я и протянул руку к документам.

Помню, в тот день Сергей Борисович, вернувшийся из Таиланда, где он провел зимний отпуск, продемонстрировал нам презентацию в PowerPoint — сделанные им там фотографии. Мы считали себя большими молодцами — во всяком случае, в том, что касалось бизнеса. Документы, обеспечивавшие перевод Казаку второй части ссуды, были нами подписаны, а согласно нашему инспектору, Вячеславу Александровичу, если работы будут вестись такими же, как сейчас, темпами, вскоре можно будет перечислить и третью. Казак прислал нам большую корзину живых крабов (выловленных, по его уверениям, на месте строительства причала). Поглядывая в

окно моего кабинета, я видел людей в оранжевых жилетах, очищавших от снега кровли домов на другой стороне площади, — ползая по скатам крыш, подбираясь к самым их краям, к водосточным трубам.

Центральное отопление прогрело мою спальню, точно печную топку. Я приоткрыл окно, чтобы впустить немного холодного воздуха, задернул шторы. Маша сидела на мне верхом, вдавив кулачки в мою грудь, глядя в стену, — сосредоточенная, дышащая, как бегун на среднюю дистанцию.

Мы не виделись больше недели. Я болел, а она, как я полагал, куда-то уезжала на несколько дней, поскольку, звоня ей, я неизменно попадал на голосовую почту. Впрочем, когда я спросил об этом, Маша сказала, что все время была в Москве. Внезапно я вспомнил то, что сказала Ольга, и решил выяснить все в точности.

— Что такое «Мосстройинвест», Маша?

— Как?

— Что такое «Мосстройинвест»?

Маша перестала раскачиваться и изгибаться, но дышала все еще тяжело.

— Не знаю, — ответила она.

— Этой компании принадлежит квартира в

Бутове, — пояснил я. — Квартира Татьяны Владимировны.

Она соскользнула на постель, вытянулась рядом со мной на спине, уставилась, как и я до этого, в иероглифические линии на моем потолке. Тела наши не соприкасались.

— «Мосстройинвест»… наверное, это компания Степана Михайловича. Или — как это у вас называется? — мужа одной из его сестер.

— Зятя.

— Да, компания его зятя. Да, думаю, это так.

— Лучше все-таки знать наверняка, — сказал я. — Иначе у Татьяны Владимировны могут возникнуть проблемы.

В те дни проблем с российскими строителями возникало много. Иногда они распродавали все квартиры строившегося дома и исчезали, не завершив строительство, а покупатели, протестуя, разбивали палаточные лагеря и жгли по ночам костры перед зданием правительства — Белым домом, стоящим неподалеку от гостиницы «Украина».

Маша немного подумала, отвернувшись от меня, зарывшись лицом в подушку. Шея ее покраснела. Мои пальцы оставили на ее спине красные отпечатки.

— Никаких проблем не будет, — сказала она, повернулась на другой бок, лицом ко мне, зажала мою ладонь между своими и взглянула мне в глаза.

Ее глаза были зелеными, как джунгли. Кожа выглядела совсем молодой, тело было крепким, тугим, мускулистым, точно у танцовщицы или боксера.

— И знаешь, Коля, — сказала она скорее холодно, чем ласково, — мы ведь просили тебя только об одном — подготовить документы на продажу квартиры Татьяны Владимировны. Другими документами, бутовскими, занимался Степан Михайлович. Тебе о них думать незачем. Они уже готовы. Твое дело — подготовить *эти* документы и сказать Татьяне Владимировне, что они в полном порядке. Вот и скажи ей об этом.

Я молчал. Маша притронулась ко мне.

— Возвращайся, — сказал я.

Тем разговор и закончился, однако оба мы понимали, что это значит. Я предпочел поверить ей. Встать на ее сторону.

— Ладно, — ответила она — и возвратилась.

Она была особенной женщиной, Маша. Я должен сказать тебе об этом. Такая способность бить в одну точку, такое владение собой. Уверен, из нее

мог получиться великий хирург. Или, в другую эпоху, замечательная монахиня. Или актриса — Маша могла стать великой актрисой. Да она и была великой актрисой.

Когда я снова пришел на Чистые пруды, там скользили по льду конькобежцы. У Татьяны Владимировны я застал незнакомого мужчину, он уже уходил. Лет сорока с небольшим, приятной наружности, в прекрасном замшевом пальто. Банкир, сразу решил я. Один из его пальцев, довольно коротких, украшал перстень с печаткой, а сам он выглядел только что побывавшим у дорогого парикмахера. От него просто-напросто пахло деньгами. Катя, уже в прихожей, попробовала пококетничать с ним: улыбалась, поворачивалась так и этак, выпячивала грудь. Мужчина сказал мне по-русски: «Добрый вечер», поднял воротник пальто и вышел из квартиры. На мой взгляд, он не походил на человека, у которого могли иметься причины навещать Татьяну Владимировну.

— Кто это? — спросил я, разуваясь.

— Не знаю, — ответила Катя и засмеялась.

И сразу же появилась Маша — в одних носках скользнула ко мне по паркету, схватила меня за руки и сказала:

— Ребятки, пошли блины есть!

Россия отмечала Масленицу, наполовину языческий праздник, как-то связанный с Великим постом, как-то, предположительно, с концом зимы, — в этот день в церквах звонят колокола и всем полагается есть блины. Мы трое расположились на кухне и принялись уплетать их со сметаной и красной икрой. Рамы кухонных окон были заклеены, чтобы не пропускать холод, липкой лентой — старая сибирская привычка, решил я, от которой старушка так и не сумела избавиться. Не обошлось, разумеется, и без тостов.

— Почти все документы на вашу квартиру уже у меня, — уведомил я Татьяну Владимировну.

— Огромное спасибо, — сказала она и расцеловала меня в обе щеки.

— Коля и документы на квартиру в Бутове тоже скоро подготовит, — сообщила, не глядя на меня, Маша.

— Замечательно, — сказала Татьяна Владимировна.

Я улыбнулся и счел за лучшее промолчать.

Глава двенадцатая

— Я хочу познакомить тебя с моей матерью, Маша.

— Что?

— На следующей неделе она приедет в Россию. В четверг я встречу ее в Санкт-Петербурге, а в воскресенье привезу в Москву. Она пробудет здесь до вторника. Я хочу познакомить вас.

— Зачем?

Этого я и сам не понимал. В более позднее время мне ведь и тебя захотелось познакомить с ней (хотя я знаю, ты так до конца и не уяснила, почему ее мелочность так сильно действует мне на нервы, что, как я полагаю, характерно для отношений многих людей с их родителями). Но с Машей все было иначе. Она почти не расспрашивала меня о моей семье, и не думаю, чтобы воображение мое хотя бы раз попыталось нарисовать картину, на первом плане которой фигурировали бы и Маша, и мои родители. Вероятно, отчасти идея этого знакомства объяснялась желанием похвастаться, показать матери, насколько полна моя жизнь в России — без нее и без всех прочих. Отчасти же я,

быть может, хотел утихомирить ее, предъявить Машу как свидетельницу моего довольства собой, а следовательно, и скромности маминого родительского успеха. Нельзя, впрочем, исключить и другое: я надеялся, что Маша как-то не так оденется, скажет что-нибудь неуместное или слишком много выпьет, разозлит мою мать, а то и оскорбит ее, на что у самого у меня не хватало духу. А может быть, мне просто хотелось, чтобы мать разделила со мной грязное пятно, которое, как я подсознательно понимал, ляжет на меня в скором уже времени. Маше же я, наверное, пытался сказать этой встречей: смотри, я ничего не утаиваю, вот из какой среды я вышел и частью какой все еще остаюсь, но ты не тревожься, она уже больше не моя — я перешел Рубикон, и ты сама видишь, насколько я от него удалился.

— Всего один час, Маша, — сказал я. — Пожалуйста. Тебе это ничего стоить не будет.

— Ладно, Коля, — ответила она. — Я с ней познакомлюсь.

— Спасибо. Я твой должник.

— Договорились.

Сомневаюсь, что ей и вправду так уж хотелось ехать в Россию. Думаю, ее поразил последний приступ материнской тревоги, которую мама

должна была, предположительно, ощущать. Возможно, причиной тревоги стали всякого рода плохие новости, начавшие поступать из России: бомбы в московском метро, загадочные взрывы на газопроводах, история, приключившаяся с вертолетом бывшего министра финансов. Мне и хотелось бы, чтобы некие живущие в параллельном мире, повзрослевшие Ник и Розмари смогли обсудить все по-честному, признались, что они любят друг дружку, пусть и каждый по-своему, и сошлись на том, что это окажется перебором: пять дней, сто двадцать часов, в которые им будет почти не о чем разговаривать, хоть они и могли бы поговорить очень о многом, — если бы решились на это или дали себе такой труд. Однако они не решились, и в начале марта мама приехала в Россию, чтобы повидаться со мной.

Я встречал ее в петербургском аэропорту. В том мгновении, когда ты видишь, как из глубин аэровокзала выходят толпой счастливые, совершенно посторонние люди, прилетевшие сюда по воздуху и уцелевшие, всегда присутствует нечто от милости божьей, не правда ли? — и одновременно есть что-то завидное, мучительное для тебя в том, как они обнимаются с родными, некоторые даже плачут, а затем берутся за руки и возвращаются

к своей жизни, о которой ты ничего не знаешь. В конце концов и мама вышла ко мне вместе с другими британскими туристами. Мы поцеловались — неловко, будто политики на встрече в верхах, потом я нашел машину и мы поехали в город. Водитель, с которым я немного поболтал дорогой, оказался отставным полковником. Он сказал, что, если мне это интересно, у него сохранились хорошие связи в ведомстве, которое занимается распродажей списанного армейского обмундирования.

Я заблаговременно снял для нас номер в гостинице, которая стоит в самом конце Невского проспекта, — одной из советских еще гостиниц размером в город: тысячи номеров, кегельбан, казино, пустующие кафе на каждом этаже и публичный дом в подвале. В фойе, когда мы вошли, сидели за кофейными столиками, беседуя, штатные гостиничные проститутки. Портье заставил меня заплатить за обе ночи вперед — разумная, если учесть состояние номеров (электрические провода, свободно, на манер телеграфных, свисающие с потолка, ванные комнаты без раковин, с подозрительно влажными ковриками), предосторожность. Мама сказала, что перелет ее утомил, поэтому ужинать мы отправились в гостинич-

ный ресторан. Она заставила меня спросить, свеж ли лосось, предложенный меню, и официантка ответила: «По второму разу не замораживали». В середине зала сидела компания третьеразрядных мафиози с вихлястыми девицами, мужчины то и дело выталкивали их из кресел, чтобы они танцевали одна с другой между столиками, и грозно требовали от официанток включить музыку.

Ночью кто-то раз за разом звонил в наш номер и спрашивал, не скучаю ли я, не хочу ли познакомиться с красивой женщиной? Часов около трех я снял с аппарата трубку и после спал до позднего санкт-петербургского утра — его северный свет создает у человека уже проснувшегося ощущение, что он ходит во сне, или наоборот: что он встал, хоть на самом деле он продолжает спать.

Мы провели полтора дня, разглядывая Рембрандтов и позолоту Эрмитажа, торопливо пересекая замерзшие каналы («Вот уж не думала, что будет *так* холодно», — все повторяла, точно слабоумная, мама), заглядывая в желтые, негостеприимные петербургские дворы с их дрожащими кошками и грудами смерзшегося мусора. Заглядывали мы, как положено, и в соборы, осажденные, все до единого, нищими — спившимися, изувеченными солдатами; пья-

ницами, солдат изображавшими; настоящими, не изувеченными пока новобранцами, работавшими, как мне представлялось, на улицах, чтобы добыть своим командирам деньги на попойки. Сами же соборы заполнялись иконами, запахом ладана, скорбными женщинами в платочках и мглой древних предрассудков. В них все дышало старинным, вызывающим быстрое привыкание наркотиком, крэком для души, которым поторговывает Русская православная церковь, — мыслью о том, что и в этой жестокой стране жизнь может быть прекрасной.

Я рассказывал матери о моей работе, о Паоло, немножко о Казаке, но, когда попытался объяснить, что такое «Народнефть» и как финансируется наш проект, она заскучала, ей стало неинтересно. Мать говорила о тревоге, которую внушает ей отец, — не здоровье его, пояснила она, вернее, не только здоровье. А потом принялась рассказывать об их с отцом детстве. *Его* отец, сказала она, после войны уволился из флота, но всегда казался погруженным в какие-то свои мысли, словно отсутствующим, — мама полагала, что этим и объясняется отчужденность, существующая между моим отцом и его детьми. В подробности она вдаваться не стала, а я не стал

их выспрашивать. Так мы и провели тот уик-энд: начиная разговоры, которые могли сделать нас людьми более близкими, доверяющими друг дружке, и обрывая их на самом пороге этих новых для нас отношений. И еще она почему-то часто возвращалась к очень холодному отпуску, который ее родители провели в пятидесятых в Уэльсе, взяв с собой и ее; рассказывала, как ее отец, железнодорожник, я его никогда не видел, потащил их на пикник в самый разгар грозы с градом. Шел снег. Большие очки мамы то и дело запотевали. И сапоги на ней были совершенно никудышные.

Вдали светился у реки Зимний дворец, обращенный рано садившимся солнцем в розоватую галлюцинацию. Бронзового Всадника явно одолевала перхоть. Я остановился у киоска и купил для Татьяны Владимировны отдающий глупой сентиментальностью стеклянный шарик, внутри которого порхали вокруг миниатюрного Исаакиевского собора снежинки. Странно, я, похоже, скучал по ней.

— Это подарок, — пояснил я. — Для одной моей знакомой.

— Понятно, — сказала мама.

Мы шли, оскальзываясь на льду, вдоль замерз-

шего канала, она искоса поглядывала на меня. Я понимал, ей хотелось внушить мне этими взглядами какую-то серьезную, взрослую мысль, однако сформулировать ее матери не удавалось, и она отводила глаза в сторону.

— Да нет, — наконец сказал я, — ее зовут Татьяна Владимировна, когда-то давно она жила в Петербурге.

— А.

— Она — тетушка Маши.

— Маша… это та, что звонила тебе на Рождество?

— Да.

— Ага. Хорошо.

Мы приближались к Невскому. Стоял мороз, около минус десяти. Мне всегда казалось, что к марту зима становится злее, потому что конец ее уже виден и ты отчаянно жаждешь его, — вот так же солдатам становится под конец войны все страшнее.

— Хорошо, что ты познакомился с ее родными.

Полагаю, она таким образом попыталась выяснить, насколько у нас все серьезно.

— Пока только с ее сестрой, — ответил я. — Двоюродной. И с тетушкой. Тетушка живет в Москве не очень далеко от меня. Пару дней назад она

угощала нас блинами.

— Очень мило, — сказала мать. — Чудесно. Блины.

Думаю, она меня ревновала — Розмари ревновала меня к Татьяне Владимировне. И думаю, причины для ревности у нее имелись. За последние несколько месяцев я провел со старушкой больше времени, чем с матерью за последние четыре года. И это означало, что только одна из них видела, во что я превращаюсь. Слава богу, я их не познакомил.

В Москву мы поехали поездом, который отходил после полудня и добирался до столицы за пять часов. У петербургского вокзала стояла старуха в дождевике, баюкавшая на руках окоченевшую собачонку. «Ленинград — город-герой», — сообщали большие буквы, закрепленные на крыше возвышавшегося напротив вокзала дома. В поезде мы молча смотрели на скользившие за окном замерзшие болота, на деревья, еще стоявшие и недавно срубленные, лежавшие на песчанистой почве обледенелых просек. В вагоне пахло дагестанским коньяком, то и дело звучали разноголосые звонки мобильных телефонов. Появилась официантка с тележкой. Когда я попросил пива и стакан газированной воды, она

сказала: «Вы шутите?» — после чего смотрела мне в глаза до тех пор, пока я не купил у нее коньяк. В главном зале московского вокзала толклась у статуи Ленина половина, как мне представилось, человеческих обломков погибшей империи.

Мы взяли такси, поехали к моему дому. «Очень уютно», — сказала мама, оглядываясь с порога. Сойти с него она не решалась — вдруг у меня тут опиумный притон или оборудована посреди гостиной садо-мазохистская камера пыток. Ну, мама уже не раз приезжала к нам, и ты знаешь, какова она: старательно притворяется, что все в порядке, но, когда на нее не смотрят, оценивает все, что видит, мысленно переставляет мебель, безмолвно стараясь придать моему жилищу большее сходство с семейным очагом. И у меня появляется чувство, что продолжаться это будет всегда.

Час спустя мы отправились на встречу с Машей в кафе «Пушкин» — очень дорогое, отделанное под боярский дворец заведение, расположенное на бульваре по пути от моего дома к площади Пушкина.

Теперь я думаю, что Маше было стыдно за то, как она вела себя в тот вечер. Надеюсь, способность испытывать стыд у нее все-таки сохрани-

лась. Я не сказал бы, что она была груба, — просто осторожна и очень немногословна, такой я ее прежде не видел. Одета она была в черные, заправленные в сапожки джинсы и черный свитер, почти не накрашена. В общем, выглядела так, точно собирается, покинув кафе, ограбить банк или отправиться в театр монтировать декорации. Наряд ее словно говорил: «На самом деле меня здесь нет».

— Николас рассказывал, что вы работаете в магазине, — сказала мама поверх тарелки с борщом, который здесь варили специально для туристов.

— Да, — ответила Маша. — В магазине, который торгует мобильными телефонами. И тарифными планами.

— Звучит интересно.

Пауза. Чавканье. Шумное квохтанье любовниц господ высокого ранга, сидевших с ними за столиком в углу.

— Коля говорил, что вы учительница, — наконец-то нашла что сказать Маша.

— Да. Была учительницей начальной школы, — подтвердила мама, — теперь на пенсии. И муж тоже был учителем.

Вокруг — все сплошь клецки да пирожки, а вот водки, пожалуй, маловато.

— Завтра мы пойдем в Кремль, — сообщил я.

— Да, — сказала Маша. — Кремль и Красная площадь очень красивы.

— Да, — сказала мама. — Мне так не терпится их увидеть.

Нет, спасибо, десерт не нужен.

— Николас говорит, вы родом не из Москвы.

— Нет, — подтвердила Маша. — Из Мурманска. Этот город очень далеко от Москвы.

— Хорошо, что у вас есть здесь родные.

— Родные?

— Татьяна Владимировна, — подсказал я.

— Да, — согласилась Маша. — Да. Тетя. Да, нам очень повезло.

Маша перевела взгляд с нас на окно, затем на люстру якобы восемнадцатого столетия.

— Надеюсь, мы когда-нибудь увидимся в Англии.

Думаю, мама сочла себя обязанной сказать это, хотя, возможно, обращалась она только ко мне.

Маша улыбнулась. Все происходившее смахивало на агонию, однако закончилось и оно.

На следующий день я сводил маму в Кремль — полюбоваться нарядными храмами, огромным треснувшим колоколом, который никогда не звонил, и могучей пушкой, слишком большой, чтобы

из нее стрелять. Двое стоявших при воротах солдат попытались содрать с нас «особую» входную плату. Из Кремля мы отправились на Измайловский рынок, чтобы она выбрала — в тамошнем хаосе икон, ковров, зубов нарвалов, космических шлемов, пресс-папье самого Сталина, противогазов, самоваров, узбекского хлопка, фашистских гранат, матрешек в виде Бритни Спирс и Осамы бен Ладена, недокормленных танцующих медведей и грустных, толстых, замерзших баб, певших на потребу туристам «Калинку-малинку», — какие-нибудь сувениры. Мама купила меховую шапку для отца и шкатулочку с изображением русского леса для себя. Я отпросился с работы на весь понедельник, и потому мы поехали на Новодевичье кладбище, где под безвкусными надгробиями покоятся Хрущев и иные большие люди. Со ската, резко уходящего от стен древнего монастыря вниз, к замерзшему пруду, съезжали на импровизированных санках неустрашимые русские дети, последнее зимнее солнце било в позолоченные купола соборов. На обратном пути мы полюбовались станцией метро «Маяковская» с ее потолочными мозаиками — цеппелины, парашютисты, самолеты-истребители и разбросанные среди них серпы и молоты, которые так

никто пока и не удосужился устранить.

Вечером мы пошли на Большую Никитскую — послушать в Большом зале консерватории классическую музыку. По стенам зала тянулись вереницей портреты композиторов.

Концерту предшествовала своего рода сцена: на наших местах расположились две старухи, и изгнать их мне удалось только с помощью свирепой капельдинерши. Что за музыка исполнялась тогда, я не помню. Зато помню, как время от времени поглядывал искоса на маму и видел, что она смотрит себе в колени, — ладони соединены, большие пальцы рук медленно вращаются один вокруг другого, — мне казалось, что я вижу ее такой, какой она была в детстве, во время каникул в холодном Уэльсе, какой была до того, как стала моей матерью, и я понял вдруг, до чего же мало о ней знаю.

Возвращаясь домой, мы прошли по Большой Никитской до здания одного из лживых российских новостных агентств — большого, с аквариумными окнами, — свернули на бульвар. Половину тротуара на моей улице отгородили — совершенно как место преступления — пластиковой лентой на металлических столбиках, то была попытка защитить пешеходов от смер-

тоносных сосулек, не по-доброму свисавших с верхушек водосточных труб. Покрытый сором, щетинившийся воткнутыми в него бутылками и пробивавшимися наружу прутками сугроб, внутри которого покоились оранжевые «Жигули», приобрел форму обвалившегося иглу или могильного холма.

Олег Николаевич стоял на своей площадке, держа в руке пакет, попахивавший кошачьим пометом, и улыбаясь — сокрушенно, точно аристократ, влекомый в открытой повозке к эшафоту К этому времени я, сказать по правде, уже обзавелся привычкой уклоняться от встреч с ним, от разговоров насчет его исчезнувшего друга, от разочарования в его глазах. Теперь я пользовался, чтобы не проходить мимо его квартиры, лифтом, и он наверняка это заметил.

— Здравствуйте, Олег Николаевич, — сказал я. — Это моя мама, Розмари.

— Премного рад знакомству, — ответил по-русски Олег Николаевич. Он взял мамину руку, вознамерившись, как мне показалось, поцеловать ее, но передумал и спросил на своем рудиментарном английском: — Как вам понравилась наша Россия?

— Очень понравилась, — громко ответила

мама. Многие англичане, разговаривая с иностранцами, немного повышают голос, как будто их собеседники глуховаты. — Замечательная страна.

Мы постояли немного в удушливой атмосфере тепла, созданного никем не регулируемым центральным отоплением, взаимного доброжелательства и безмолвия. Помню, я отметил, что глаза Олега Николаевича красны — так, точно он совсем недавно плакал.

— О Константине Андреевиче все еще ничего не слышно?

— Ничего, — ответил Олег Николаевич.

— А как Джордж?

— В марте Джордж всегда несчастен.

— Ну а сами-то вы как, Олег Николаевич? — спросил я.

— В царстве надежды, — сообщил Олег Николаевич, — никогда не бывает зимы.

Я пожелал ему спокойной ночи, мама тоже, мы повернулись к лестнице, и вдруг Олег Николаевич опустил кошачий пакет на пол и схватил маму за рукав пальто.

— Миссис Платт, — произнес он — по-английски, смешным сценическим шепотом, — берегите вашего сына. Берегите.

Едва войдя в мою квартиру, мама скрылась в ванной комнате. Сидя на кухне, я слышал, как она открывает краны, спускает в унитазе воду, чистит зубы, машинально совершая несложный обряд очищения смирившейся со своей долей шестидесятилетней с чем-то женщины.

Я уступил ей мою постель, разложил для себя диван-кровать в гостевой. Я слышал, как она вошла в спальню, снова вышла из нее и пошлепала на кухню. На ней была старенькая, доходящая до щиколоток ночная рубашка, когда-то, наверное, лиловая или сиреневая, но теперь застиранная до жиденькой серости. Мама достала из холодильника бутылку воды, налила себе стакан, снова направилась к спальне, но остановилась и повернулась ко мне:

— О чем он говорил, Николас? Твой сосед?

— Не знаю, мам. Он расстроен исчезновением друга. И по-моему, немного пьян.

На самом-то деле я так не думал. Пьяным я Олега Николаевича еще ни разу не видел.

— Ты уверен насчет этой девушки? Насчет Маши?

— А что?

— Да просто она показалась мне… холодной. Слишком холодной с тобой, Николас.

— Да, — сказал я. — Может быть.

— Ты счастлив, Николас?

Это был самый серьезный вопрос, какой она задала мне за двадцать примерно лет. Я подумал немного. И ответил искренне:

— Да. Я счастлив.

Я был обязан Маше, и она попросила меня об услуге.

Произошло это, сколько я помню, около середины марта. На правом рукаве моей куртки-дутик, которым я несколько месяцев вытирал, ковыляя по улицам, нос, образовалась корочка, смахивавшая на слой замерзшей спермы. Машу я не видел уже около недели, с вечера ее знакомства с мамой. Думаю, она опять уезжала из Москвы, хотя ничего мне об этом не сказала. С Катей же я не виделся еще дольше. Мы, все трое, встретились в ресторане, стоявшем немного в стороне от Тверской, напротив здания мэрии, вдоль которого тянулась чистая полоска подогреваемого тротуара.

Температура не поднялась пока выше нуля, однако Маша уже вернулась к своему осеннему пальто с кошачьим воротником. Катя запаздывала.

— Как тебе понравилась моя мать? — спросил

я у Маши.

— Было очень интересно. Она — как это по-английски? — *scared.* Всего боится. Примерно как ты.

Волосы Маши были зачесаны назад так, что льнули к черепу, зрачки перенимали блеск потолочных светильников. Она посмотрела мне в глаза, и я отвел взгляд. Подошла официантка, мы заказали водку и котлеты.

— А как твоя мать, Маша? — спросил я.

— Ничего, — ответила она, — только устала очень. Стареет.

— Мне хотелось бы познакомиться с ней, — сказал я.

— Может, когда-нибудь и познакомишься.

— Что у тебя на работе?

— Я притворяюсь, будто работаю, они — будто платят мне.

Появилась Катя. Со времени нашего знакомства прошло всего шесть месяцев, но для девушки ее возраста это срок немалый. Бедра и губы Кати пополнели, у нее, по моим догадкам, появились какие-то новые виды на будущее. Собственно, эти полгода оказались долгими для всех нас, — вернее, долгими и короткими одновременно: вечная история с русской зимой, которая тянется, тянет-

ся, и ты думаешь, что она никогда не закончится, наступила навек, а потом вдруг теплеет, и тебе начинает казаться, будто ее и не было вовсе.

Катя сняла пальто, села. Коротенькая блузка чуть задралась, и внизу спины я углядел новую татуировку.

— Как учеба? — спросил я у нее.

— Хорошо, — ответила она. — Отлично. Я вторая в группе. Скоро экзамены сдавать.

И она, раскрасневшись от гнева, пустилась в длинный рассказ о том, как этим вечером в ее трамвай вошли двое мужчин, назвались контролерами и принялись собирать с безбилетных пассажиров по сто рублей штрафа. Поскольку безбилетными были все, люди безропотно платили, хоть и понимали, что эти двое — мошенники.

— Кошмар, — сказала Маша.

— Кошмар, — сказал и я таким тоном, точно речь шла о самом ужасном, что только мог или попытался бы придумать каждый из нас.

В тот вечер им требовалось обсудить со мной две темы. Первой, как я теперь понимаю, надлежало привести меня в благодушное настроение: в конце мая или в начале июня девушки собирались провести длинный уикэнд в Одессе и звали меня с собой.

— Помнишь? — спросила Катя. — Фотографии.

Фотографии, которые они показали мне в нашу первую ночь, в плавучем азербайджанском ресторане, зима тогда была на подходе. Помню ли я их?

— Да, — ответил я. — Помню.

По словам девушек, у их дальнего родственника имеется дом, совсем рядом с пляжем, в нем мы и сможем пожить. Будем купаться, ходить по ночным клубам. Получится «классно», сказала Катя. «Идеально», — поправила ее Маша. Я сказал, что буду рад поехать с ними.

Вторая тема была связана с деньгами.

— У Степана Михайловича возникли трудности с деньгами, с теми, что предназначались для Татьяны Владимировны, — начала объяснять Маша. — Это связано с его бизнесом. Он говорит, что строительство дома затягивается. Ему нужно расплатиться с рабочими-таджиками. Он может, конечно, заплатить милиции, чтобы она арестовала всех этих таджиков, так выйдет дешевле, но тогда придется искать новых рабочих. Сейчас он может выдать Татьяне Владимировне только двадцать пять тысяч, другие двадцать пять ему пока взять неоткуда. Конечно, Татьяна Владимировна таких денег и не просила, Степан Михайлович

может просто сказать ей, что больше половины, то есть больше двадцати пяти, она от него не получит. Для него это пара пустяков. Но мы считаем, что будет лучше, если он займет у кого-нибудь недостающие деньги и отдаст ей всю сумму.

— Но почему же Степан Михайлович не может заплатить ей попозже, когда у него появятся средства?

— Он-то может, — ответила Маша. — Но, честно говоря, я боюсь, что после обмена квартирами Степан Михайлович решит оставить эти деньги себе, а не отдавать их какой-то старухе. Если же он одолжит деньги у человека важного, значительного, ему придется их вернуть. Скажем, у иностранца. Да еще и юриста.

И она взглянула мне прямо в глаза: ты все понял? Я, помолчав, спросил:

— Когда? Когда они понадобятся, эти деньги?

— Договор о продаже еще не подписан. Думаю, деньги будут нужны месяца через два-три. Может быть, после нашего возвращения из Одессы.

Квартиру в Лондоне я так и не купил. Я снимал там жилье и некоторое время делил его с одной моей давней подругой (по-моему, я как-то показал тебе дом, в котором жил, — мы тогда шли на званый обед, устроенный женщиной

из твоего прежнего агентства, забыл, как ее зовут). Я заколебался, когда цены на жилье пошли вверх, и решил дождаться их спада. Денег у меня было довольно много, они лежали на моем банковском счете, ожидая, когда я надумаю, что с ними делать, — когда повзрослею. Зарабатывал я прилично — больше, чем получали когда-либо в жизни мои родители вместе взятые. По российским меркам не так уж, быть может, и много, но достаточно для того, чтобы спокойно расстаться на несколько месяцев с двадцатью пятью тысячами долларов. Собственно, раз или два я уже одалживал русским какие-то суммы — секретарше нашего офиса, например, девушке из Сибири, которой хотелось купить мотоцикл, — и всегда получал мои деньги назад. А Маша с Катей — я же говорил себе: что бы ни произошло, мы всегда будем действовать заодно. Думаю, впрочем, что одновременно я был и рад дать им деньги, даже облегчение испытывал, — во-первых, это делало меня полезным для них, а во-вторых, и в-главных, я всегда, как мне кажется, считал, что за все следует платить, пусть даже только деньгами, как в моем случае. Ну а девушки, — думаю, они попросили у меня денег просто потому, что имели такую возможность, считали это чем-то вроде

моего морального долга.

Маша сказала, что двадцать пять тысяч долларов нужны им для Татьяны Владимировны. Но эти же двадцать пять тысяч шли в уплату и за обед Маши с моей матерью, и за предстоящий уик-энд в Одессе, — может быть, мы будем жить в той самой комнате, где Маша, почти голая, сфотографировала свое отражение в зеркале — картинка, которую я и сейчас вижу, закрывая глаза, как изгнанный из России верующий человек видит любимую икону.

— Хороню, — сказал я. — Передайте Степану Михайловичу, что я готов одолжить ему деньги. Передайте, что я на этом настаиваю.

— Ладно, — сказала Маша.

— Ладно, — сказала Катя и разлила водку по рюмкам.

— За нас! — сказала Маша, и мы чокнулись, и водка увлажнила ее губы и обожгла мне горло, и кожу мою покрыла испарина дурных предчувствий, и легкий озноб опасений пробрал меня.

— Я не боюсь, — сказал я.

Войдя тем вечером в мой подъезд, я увидел полоску крови, тянувшуюся вдоль лестницы по стене примерно на уровне моей поясницы. У одной из дверей третьего этажа полоска резко

сворачивала к полу, — по-видимому, истекавший кровью, припадавший к стене человек, добравшись до этого места, упал. На площадке крови натекла целая лужа, а рядом с ней стояли два старых черных ботинка с завязанными шнурками, стояли аккуратно, почти параллельно один другому.

Когда я утром спустился вниз, кровь со стен была смыта, однако ботинки остались на месте. Это один из пьянчужек с верхнего этажа, сказал мне позже кто-то из соседей. Навернулся. Ничего страшного.

Глава тринадцатая

Под конец марта бурый московский снег начал таять, потом, когда температура на день или два упала, предпринял попытку замерзнуть снова, но обратился в грязную кашицу — «слякоть», называют ее русские, — увидев которую почти ожидаешь, что сейчас из нее высунется первобытная волосатая рука, сцапает тебя и уволочет на какое-то неведомое дно. Из-под сугробов на нечищеной стороне моей улицы начал понемногу появляться бордюрный камень, а за ним полоска тротуара: груды заледеневшего снега отдавали, дюйм за дюймом, оккупированную ими территорию. Вскоре выставилась наружу и фара погребенных под снегом «Жигулей» — вся в пятнах, она подмигивала прохожим, будто налившийся кровью глаз.

В конце марта или в самом начале апреля мы с девушками посетили Татьяну Владимировну, чтобы помочь ей разобраться в подготовленном мною, ее поверенным, предварительном договоре, который она должна была подписать. Согласно этому документу квартира Татьяны

Владимировны на Чистых прудах обменивалась на новую, бутовскую, с доплатой — в первых числах июня — пятидесяти тысяч долларов.

Я шел по бульвару, покрытому раскисавшим от послеполуденного солнца снегом. Помню, в подземном переходе на площади Пушкина мне попался на глаза старик-аккордеонист со спавшим на его коленях явно одурманенным чем-то котенком, но я спешил и ничего этому музыканту не подал.

К Татьяне Владимировне я пришел раньше назначенного времени. Я сделал это намеренно, хотел опередить Машу и Катю, хоть толком и не понимал зачем. Мы с нею оказались наедине всего во второй раз после тех нескольких минут в нотариальной конторе, когда Катя, вызванная кем-то по телефону, покинула нас. При этой-то встрече с глазу на глаз я и узнал, что она вовсе не приходилась девушкам теткой — ни в каком смысле, — получив тем самым мой последний шанс.

Я разулся. Татьяна Владимировна уже начала укладывать вещи. На паркете в коридоре рядком стояли еще не заклеенные липкой лентой большие картонные коробки, набитые документами и вещами (из одной торчала, точно рука покой-

ника из гроба, штанга люстры), а с ними пара огромных пестрых пластиковых сумок, с какими видишь иногда в аэропорту иммигрантов. Однако в гостиной ничто пока не изменилось. Фотографии гибкой молодой женщины сталинских времен и ее мужа, тома устаревшей энциклопедии и средневековый телефонный аппарат так и стояли, точно экспонаты выставки «Как раньше жили люди», на прежних местах — вместе с моей «автобусной» коробочкой английского чая. Фантасмагорические животные смотрели на меня поверх пруда и послеполуденной слякоти. Татьяна Владимировна принесла варенье и чай.

Я вручил ей купленный в Санкт-Петербурге аляповатый стеклянный шарик со снегом и собором внутри. Татьяна Владимировна по-детски улыбнулась, чмокнула меня в щеку и поставила подарок на стол, между телефонным аппаратом и фотографией мужа.

Она спросила, понравился ли мне Петербург. По правде сказать, он показался мне гнетущим и невнятно страшноватым, но я ответил, что понравился, что это очень красивый, самый красивый на свете город. Не помню уже, я ли подтолкнул ее к этому или она сама сменила тему, но разговор понемногу переключился с моей поездки в Петер-

бург на ее прошлое, на Ленинградскую блокаду.

Сейчас, когда она вспоминает Ленинград, сказала Татьяна Владимировна, город всякий раз представляется ей холодным и заснеженным, хоть она и знает, что летом там бывает солнечно и жарко. Конечно, Исаакий не был в то время собором, коммунисты обратили его не то в музей атеизма, не то в плавательный бассейн, она уже не помнит во что, видать, совсем из ума выжила.

— В то время все перевернулось с ног на голову, — рассказывала Татьяна Владимировна. — Поначалу мы слушали радио, которое твердило, что и мы — герои, и Ленинград — город-герой, да мы и ощущали себя героями. А после люди превратились в животных, понимаете? И видели в любых других животных только еду. У нас был песик, маленький такой, мы прятали его от соседей. В конце концов он все равно помер, и сами же мы его и съели. Уж лучше бы сделали это, пока он не отощал!

Она рассмеялась — коротко и резко, на русский манер.

— Самыми богатыми людьми оказались те, у кого было много книг, — продолжала Татьяна Владимировна. — Им было что жечь, понимаете?

— Да, — ответил я, хоть ничего и не понял.

— Книги стали дровами. Собаки — едой. Лошади тоже, те, что еще были живы. Лошадь падала на улице, и люди сбегались к ней с ножами. А из обуви варили суп.

Она замолчала, затрудненно сглотнула и попыталась улыбнуться.

— Я жила в подвале… Помню, как уже после войны, в летнем детском лагере, меня угостили мороженым. И все говорили, что мне страшно повезло.

— И вам действительно хочется снова попасть в Санкт-Петербург? — спросил я.

— Может быть. — Она закрыла глаза, секунд пять промолчала, потом открыла их: — Нет.

Я спросил, находились ли в то время в Ленинграде и семьи Маши с Катей.

— Не знаю, — ответила она. — В Ленинграде жило много людей. Особенно в начале войны.

— Так вы не вместе жили?

— Как это?

— Я думал, вы жили все вместе.

— Почему?

— Ну, вы же родня.

— Родня? Нет, они мне не родня.

Разумеется, я удивился, — а впрочем, может

быть, и нет. Если и удивился, то предпочел это скрыть. Предпочел отвернуться от последнего данного мне шанса.

— Простите, Татьяна Владимировна, — сказал я. — Наверное, я ошибся. Я думал, что вы приходитесь им тетей.

— Тетей? Нет, — ответила она, тряхнув головой и улыбнувшись. — Родных у меня уже не осталось. Никого.

Она отвела взгляд в сторону, легко покачалась на софе взад и вперед.

— Откуда же вы их знаете? — спросил я, стараясь оставаться спокойным. Я не хотел пугать ее, хотел лишь установить факты. — Катю и Машу?

— Все получилось очень странно, — ответила Татьяна Владимировна и устроилась на софе поудобнее, словно собираясь приступить к длинному рассказу. — Мы познакомились в метро.

К Татьяне Владимировне я еще вернусь, обещаю, а сейчас мне хочется забежать вперед — немного, всего на несколько часов. Хочется рассказать тебе о том, что произошло вечером того же дня. Думаю, это поможет тебе понять, почему я вел себя именно так. При условии, конечно, что тебе это все еще интересно. *Мне* оно понять помогает: оглядываясь назад, я воспринимаю два

этих эпизода как часть одного и того же события, одно маленькое откровение, растянувшееся на вторую половину дня и на вечер.

Покинув Татьяну Владимировну, я отправился вместе с Паоло на свидание с нашим инспектором Вячеславом Александровичем и с Казаком. Помнится, было воскресенье, но нам требовалось срочно увидеться с ними. На следующий день банки должны были перевести Казаку последнюю, самую большую часть ссуды, двести пятьдесят миллионов долларов, плюс-минус миллион. Казак пригласил нас в свой офис, здание которого стояло на набережной рядом с прежним британским посольством, напротив возвышавшейся за рекой кремлевской, окрашенной в цвет мяса стены. Как мы впоследствии выяснили, это был не его офис. Сомневаюсь, что у Казака вообще таковой имелся. У него тогда только и было, что «хаммер», наглость и «крыша».

Мы поднялись в лифте с зеркальными стенами на четвертый или пятый этаж и оказались в комнате с внушительным круглым столом и глядевшими на реку окнами. За ними уже смеркалось, но все же видно было, как на реке вздувается и лопается лед, как большие, уносимые течением плиты его сталкиваются и налезают одна на

другую, как сбрасывает кожу огромная змея реки. Стоявшие вдоль набережной желтые и серые дома понемногу сливались с грязным небом, их верхние, освещенные окна светились в сумраке, точно бортовые огни низко летящих НЛО.

Нас ожидала водка (плюс несколько добавленных для проформы соленых огурцов и ломтей черного хлеба).

— Выпьем? — спросил, направляясь к столику, Казак.

— Одну стопку, — сказал Паоло.

— Можно, — сказал я.

— Нет, спасибо, — сказал Вячеслав Александрович.

Паоло знал Вячеслава Александровича довольно давно, по прежним нашим с ним общим делам, но я — с того времени, как в начале зимы мы подрядили его для инспектирования нефтеналивного причала, — видел всего один раз. Это был невысокий бледный мужчина с густыми волосами, толстыми, советских времен, очками и встревоженными глазами за ними. Пожалуй, ты могла бы сказать, что он походил на меня — придавленного и зачахшего. От костюма Вячеслава Александровича попахивало сигаретным дымом и Брежневым. Хорошо помню комочки

ваты, торчавшие из его ушей, — кое-кто из особо мнительных русских засовывает их туда перед тем, как выйти на улицу.

Бутылка водки имела форму «Калашникова». Казак взял ее за приклад, налил четыре большие стопки. Когда он протянул одну из них мне, я увидел его запонку — отлитую из какого-то металла миниатюрную долларовую бумажку.

— Выпейте, — сказал он Вячеславу Александровичу, протягивая стопку и ему, пить отказавшемуся, и прозвучало это как приказ, а не предложение. — За нас! — сказал Казак и, в один глоток осушив стопку, отер губы рукавом своего похоронно-черного костюма.

Мы с Паоло чокнулись и тоже выпили. Водка оказалась превосходной — мягкой, не обжигавшей горло, почти лишенной вкуса.

Вячеслав Александрович пригубил ее и криво улыбнулся.

— Пейте-пейте, — сказал, не улыбаясь, Казак.

Вячеслав Александрович вздохнул — глубоко, как ныряльщик перед прыжком в воду, — и проглотил водку. А проглотив, задохнулся и заморгал своими кротовьими, заслезившимися под очками глазками.

Казак рассмеялся и хлопнул его по спине. Роста

они были примерно одинакового, но Казак отличался сложением тюремного громилы, а Вячеслав Александрович обладал одним из тех неказистых тел, которые кажутся и пухловатыми, и тощими сразу. От хлопка он качнулся вперед, потом выпрямился и попытался улыбнуться еще раз.

— Молодец, — сказал Казак. — Ладно, сели.

Мы встретились, чтобы подписать документы, которые нужны были банку для того, чтобы выписать последний чек или нажать на кнопку для перевода денег. И у нас, и у Казака имелись ламинированные копии гарантийного письма губернатора северного края, где строился причал. Имелись обещания «Народнефти» относительно объемов нефти, которые она будет поставлять. Банки получили страховки от политического риска и наш успокоительный контракт толщиной в добрую книгу. Все, что нам теперь требовалось, — это последний отчет Вячеслава Александровича.

Я коротко записывал суть того, что он говорил. Все остальные курили — Вячеслав Александрович торопливо, приобретая с каждой затяжкой вид все более встревоженный. Он сказал, что супертанкер переоборудован окончательно, в ближайшие дни его отбуксируют к месту стоянки. Дно там уже подготовлено, двенадцать

якорей надежно закреплены. Свои слова он пояснял слайдами, которые проецировались на настенный экран. Мы увидели чертежи и фотографии шипастых, зарывшихся в дно крепежных якорей. Увидели наполовину вмерзший в лед, точно брошенный за ненадобностью труп, участок трубопровода и расплывчатый снимок, показывавший, предположительно, дно Ледовитого океана. В какой-то момент презентация застопорилась, и Вячеслав Александрович, нос и шея которого покрылись каплями пота, стукнул кулаком по компьютеру.

В заключение он сказал, что все оборудование доставлено на место и приступить к бесперебойной перекачке нефти можно будет уже очень скоро. Под конец своего выступления он смотрел только в стол и курил так, точно вся его жизнь на одном только табачном дыме и держалась.

— Отличные новости! — сказал Казак.

Мы с Паоло посовещались. Сказать по правде, я был в тот вечер немного рассеян. Впрочем, обсудить нам осталось лишь пару формальностей. Советовать банкам пойти на попятную было поздно, даже если бы мы захотели дать им такую рекомендацию. А мы этого не хотели: Вячеслав Александрович производил впечатление че-

ловека дотошного, да и «Народнефть» все еще поддерживала проект. Так что совещались мы не долго. Паоло сказал, что, по его мнению, банки могут перевести Казаку деньги. Я с ним согласился. И мы сообщили об этом Казаку. Он подергал себя за вихор и сказал:

— Прекрасно.

Впрочем, главной причиной, по которой мне запомнился тот вечер, — причиной, по которой он сплавился в моем сознании с разговором, состоявшимся между мной и Татьяной Владимировной, и о которой я тебе сейчас расскажу, — была не сама наша встреча и не то, как умело и небрежно Казак на наших глазах подвергал пытке Вячеслава Александровича. Нет, причина в том, что произошло дальше. Я единственный раз увидел Паоло по-настоящему разгневанным — хотя последующие события дали ему достаточно поводов для гнева, — и мы с ним серьезно повздорили. С ним, с человеком, посвятившим свою жизнь превращению конфликтов в контракты, умевшим найти приемлемые для всех слова, приукрасить любую неприглядную реальность.

С делом было покончено. Облитые светом дворцы Кремля сияли за рекой во внезапно наступившей ночи. Казак предложил нам от-

праздновать заключение сделки в ресторане.

— Поужинаем, — сказал он, — а там видно будет.

Глаза его поблескивали — думаю, он уже прикидывал возможные схемы отъема, распиливания и отмывания денег.

Вячеслав Александрович извинился и покинул нас. Паоло, Казак и я спустились на улицу, к «хаммеру» с тонированными стеклами. Паоло поднял воротник своего итальянского пальто. Казак, сколько я помню, носил шапку, сшитую из меха какого-то стоящего на грани исчезновения животного, — такие прикрывают одни лишь макушки русских мужчин, оставляя уши не защищенными; основное назначение этих шапок — показывать, какой крутой мужик их хозяин. Внутри «хаммера» обнаружился плазменный телевизор, холодильник и водитель, щеку его рассекал багровый шрам. Одной рукой он опустил стекло в своем окне, отчего в машину ворвался морозный воздух поздней зимы, а другой вытащил из-под пассажирского сиденья синюю милицейскую мигалку и прилепил ее к крыше автомобиля. Потом нажал на кнопку, и мы, сверкая мигалкой, покатили сквозь сумрак — мимо гостиницы, в которой по воскресеньям

можно было получить поздний завтрак ценой в двести долларов, мимо «Дома на набережной», наделенного дурной кармой здания, где в тридцатые годы жили, пока им еще дозволялось жить, сталинские прихвостни и на крыше которого вращается ныне гигантский символ «Мерседеса». Неподалеку от «Кропоткинской» тянулась вдоль ограды храма очередь старух, певших под желтыми уличными фонарями жалобные молитвы в ожидании, когда их допустят в храм и они увидят выставленную там напоказ репатриированную реликвию — клок волос какого-нибудь святого или кусочек его коленной чашки. Они казались нереальными, статистками некоего фильма — здесь, посреди неонового вожделения и исступленных пороков столицы. Машина остановилась на красном свете, Казак выругался и пристукнул по спинке водительского сиденья.

На Остоженке мы вылезли из машины у элитного ресторана-порноклуба. «Абсент», так он, кажется, назывался. Мигалка погасла. На слякотном тротуаре мерзли рядком, надеясь привлечь к себе благосклонное внимание начальника здешней службы «фейс-контроля», будущие олигархессы. Они расступались перед Казаком, как автомобили перед его мигалкой. Он держал в

руке кожаную мужскую сумочку, в самый раз пригодную для переноски маленького полуавтоматического пистолета, бывшего в то время последним писком моды у громил и денежных людей Москвы, — аксессуар, отдававший и женоподобием, и угрозой, словно бросавший всем и каждому вызов: ну-ка, попробуй меня украсть. Казак извлек из сумочки какую-то бумажку помахал ею перед носами вышибал и вступил в землю обетованную. Мы вошли следом и сдали наши пальто хорошенькой гардеробщице.

— Что это было? — поинтересовался я, когда мы уселись.

— Вы о чем? — спросил Казак, неторопливо подзывая официанта покачиванием повелительного пальца. Воздух в клубе казался уплотненным — из-за табачного дыма, звуков русского техно и ароматов женщин класса люкс.

— Что вы показали вышибалам?

Казак расстегнул сумочку и вытащил из нее карточку с его фотографией на одной стороне и двуглавым орлом на другой. Рядом с фотографией значилось, что Казак — сотрудник кремлевского секретариата по экономическим связям. Он повертел передо мной эту фальшивку, сжимая ее двумя пальцами.

— «Запрещается», — сказал он, — означает только одно: «дороже стоит».

Мы заказали коктейли, и, когда их принесли, Казак встал и произнес тост, а за ним еще один и еще: «За нашу дружбу… за наше сотрудничество… за процветание ваших семей… за вечный мир между нашими странами… за то, чтобы вы все же приехали к нам на север». Русские тосты — это поллюции, порождаемые снами об иной, небывалой жизни.

— Я хочу спросить вас кое о чем, — сказал я.

— О чем угодно, — ответил Казак, разведя руки в стороны. — Глаза его стали совершенно невинными.

— Вы что-нибудь слышали о такой компании — «Мосстройинвест»?

— «Мосстройинвест»? «Мосстройинвест»… Нет, не думаю. Хотя постойте… может быть… да, может, и слышал. А что?

— Один мой знакомый покупает у них квартиру. Мне хотелось бы знать, насколько эта компания надежна.

— Понятно, — сказал Казак. — Я наведу справки, идет? Поспрошаю моих друзей из строительного бизнеса и дам вам знать. Скорее всего, на той неделе. Лады?

— Спасибо.

— А теперь, — продолжал Казак, — я тоже хочу вас кое о чем спросить, друг мой. О тех девушках.

Он погрозил мне пальцем.

— О каких девушках? — заинтересовался Паоло.

— Вы как — одну из них имеете, — продолжал Казак, — или обеих? Двух сразу, а?

— Они сестры, — ответил я.

— Так это ж еще интереснее, — сказал Казак.

Я думаю, их обучают этому, русских агентов всякого рода служб: пронюхать что-нибудь о человеке — сущую мелочь — и использовать ее против него, чтобы он начал гадать, как они о ней прознали, что еще могли выведать, кому могли рассказать, — в общем, чтобы он забеспокоился.

— Они хорошие девушки, Николас?

— Думаю, да.

— Будьте поосторожнее, — посоветовал Казак. — У нас в России люди бывают иногда не такими добрыми, какими кажутся. Вы меня поняли?

Зазвонил его сотовый (сигналом вызова оказалась мелодия песни «Последний отсчет»). Казак поднес трубку к уху, что-то пробормотал в нее, затем провозгласил завершающий, излюблен-

ный русскими дуболомами тост: «За крепкий член и хорошие деньги!» Выпив за это, он вручил официанту кредитку, расцеловал каждого из нас в обе щеки, сказал Паоло *«Ciao»* и ушел.

Больше я его не видел и не слышал. Вернее, видел однажды, несколько месяцев спустя, в теленовостях: во время последней войны на Кавказе (Казак стал к тому времени заместителем министра обороны) я, по-моему, разглядел его, ухмылявшегося за спиной президента, когда тот зачитывал обращение к возмущенному русскому народу.

— Варвар, — негромко сказал я; не исключено, впрочем, что слово было и посильнее.

И Паоло — потому ли, что счел меня неправым, или потому, что втайне сознавал мою правоту, или потому, что жена допекла его просьбами дать ей денег не то на новую модель «БМВ», не то на подтяжку лица, или еще по какой-либо неведомой мне причине — взорвался.

— Ты думаешь, Николас, что так уж сильно от него отличаешься? — Он оскалил зубы и внезапно показался мне — в лиловатом свете ресторана — сильно постаревшим. — Думаешь, мистер Английский Джентльмен, в Лондоне дела делаются по-другому? Ну да, они же там люди

более утонченные, *ecco*, более симпатичные, более чистые. — Паоло сделал вид, что омывает руки. — Ну так ничего подобного. И в Италии тоже. Везде картина одна. Сильные и слабые, имеющие власть и не имеющие власти, деньги, деньги, деньги. Дело не в России. Дело в жизни. В моей жизни, Николас, и в твоей тоже.

Возможно, у меня не шло тогда из головы то, чего я не сказал несколькими часами раньше Татьяне Владимировне. Какой-то части моего сознания хотелось думать — все еще, а в тот вечер даже сильнее, чем когда-либо, — что я лучше, чем был на самом деле. Лучше, чем есть. И я ответил Паоло, что, по-моему, он ошибается. Заявил, что мы не такие. У нас есть правила, границы, которых мы не переступаем. Заявил, что *я* не такой.

— Не такой? — переспросил Паоло. — Ну тогда я скажу тебе, мистер Английский Джентльмен, еще кое-что. Этот Казак — просто инструмент, с помощью которого мы зарабатываем наши бонусы, понятно? Нет Казака — нет бонуса. Ты уверен, что ты не такой? Уверен? Мы всего-навсего блохи на его заднице.

Он еще много чего наговорил. Желтоватые белки Паоло налились бурой кровью. И вскоре я перестал спорить с ним. Просто сидел и смот-

рел в окно на нелепо огромный купол собора. В слякоти, окружавшей памятник какому-то давно забытому революционеру, курили и целовались подростки.

То был урок — такой же, в сущности, какой я получил в квартире Татьяны Владимировны: все мы одним миром мазаны. И я ничем от других не отличаюсь. Может, я еще и похуже всех прочих.

Я поднял мой бокал с почти допитым коктейлем и сказал:

— За напомаженных свиней!

— Идет, — согласился Паоло. — За напомаженных свиней!

Мы чокнулись.

Они познакомились в метро, рассказала мне Татьяна Владимировна, — точно так же, как я с Машей. Она тогда купила на Дорогомиловском рынке карпа, которого хотела донести до дома живым и выпустить в ванну, и девушки помогли ей на станции «Киевская» с сумками. Я представил себе, как они идут по сторонам от нее подземным залом, между платформами, под лживыми, изображающими русско-украинскую дружбу мозаиками. По словам Татьяны Владимировны, произошло это в июне, и воображение мигом нарисовало мне девушек в летних

платьях, с открытыми, улыбающимися лицами, обаятельных, сильных, и Татьяну Владимировну, потеющую в летней кофточке с короткими рукавами и слишком плотной юбке.

Очень скоро, рассказывала Татьяна Владимировна, они и вправду стали ощущать себя членами одной семьи. Но теткой она им, конечно, не приходится. Я сидел, сцепив ладони, и молчал. Они казались мне какими-то чужими, мои ладони. По-видимому, девушки считали, что, выдавая ее за свою тетю, будут внушать больше доверия, выглядеть менее подозрительными и, если им удастся соблюсти все необходимые меры предосторожности, правда наружу так и не вылезет.

— Вы не беспокойтесь, — сказала, улыбаясь, Татьяна Владимировна, — родня мы, не родня, это совсем не важно.

Задним числом я гадаю, не пыталась ли она сказать мне: *вам волноваться не о чем.*

Я плыл по течению и подплывал к сорокалетию. Течение приволокло меня в Москву, прибило к Маше, занесло в эту историю. А другое пронесет сквозь ложь, с которой мне теперь придется жить. Да, честно говоря, это не так уж и трудно. Правда — обо мне, я имею в виду, о том, как далеко я способен зайти, — возможно, всегда была

рядом со мной, близко-близко, и только ждала, когда я ее увижу.

Я заговорил о чем-то другом. Допил чай. Сказал, что очень рад скорому окончанию зимы. Сказал, что мы собираемся съездить в Одессу. Когда пришли девушки, о том, что поведала мне Татьяна Владимировна, никто не обмолвился ни словом. Скорее всего, и она решила просто забыть об этом. Угостила нас тортом и шоколадом. И подписала все необходимые бумаги.

Немного позже я снял с моего банковского счета двадцать пять тысяч долларов. Я, Маша и Степан Михайлович встретились неподалеку от консерватории, в пустом джазовом клубе, где в зале имелись сумрачные кабинки, и я отдал ему деньги (Степан Михайлович демонстративно отказался пересчитывать их). Нашей татарочке Ольге я сказал, что квартирой в Бутове мы можем не заниматься. Хватит и того, что мы уже сделали, сказал я. И повел ее, как обещал, в модный бар отеля, что рядом с Большим.

Глава четырнадцатая

Накопленный мною опыт показывает, что уровень падения нравов любого славянского города можно, пусть и грубо, оценить по тому, через какое время после твоего появления там тебе предложат девочек. В Одессе я получил такое предложение, не успев покинуть пределов аэровокзала. Пока мы шли от выхода из аэропорта к такси, водитель спросил, не нужны ли мне девочки. То обстоятельство, что две таковые у меня уже имелись, его не смутило.

Был, сколько я помню, первый уик-энд июня. Перед самым вылетом из Москвы снова пошел снег — снег в конце мая, мать его, посредством которого Бог дает русским понять, что он с ними еще не разобрался окончательно. Зато в самолете, собранном, судя по всему, в каменном веке, было жарко как в бане. Тонкий визг двигателя, находившегося совсем рядом с моим ухом, становился все громче, громче, пока не убедил меня, что крушение неизбежно. Через проход от меня сидел совершенно безумный, толстый бизнесмен-венгр, который в первые полчаса полета

не сводил с меня глаз и ругался на четырех, а может, и пяти языках — так, точно он наблюдал за боксерским матчем. Потом венгр успокоился, отер лоб и начал жаловаться на перемены, произошедшие в Украине после прихода к власти нового президента (ты, может быть, видела этого деятеля по телевизору — у него все лицо испорчено ядом, который ему скормили русские). Теперь, по словам венгра, Украина — страна не просто коррумпированная. «Полгода назад, — горестно поведал он, — я точно знал, кому, когда и сколько придется дать. А нынче там вообще ничего не добьешься».

В самолете пахло потом и коньяком. У двери размещавшегося в хвосте туалета стояла стюардесса, готовая за небольшую подачку отключить дымовую сигнализацию. Когда самолет пошел на посадку, двое пьяных русских принялись отплясывать в проходе, пока другие пассажиры застегивали ремни.

Мы спустились по трапу на растрескавшийся бетон, и кожу мою обласкало тепло раннего черноморского лета. Настоящая жара еще не наступила, и мне показалось, что я в раю. Меня охватило полузабытое ощущение ребенка, попавшего в неведомые ему места, памятное мне

по двум-трем семейным поездкам на Коста-Брава, обдающее жаром чувство, что ты нашкодил, забравшись туда, где тебе быть не положено, и надо же, никто тебя за это не ругает, — чувство, что ты вышел сухим из воды.

Так ведь я и вышел. И очутился в Одессе, городе, строго говоря, украинском, но по-прежнему остающемся для русских сказочной нирваной греховодников, сумевших удрать от унылой жизни. Маша с Катей вышагивали впереди в мини-платьицах и босоножках на высоких каблучках — девушки переобулись еще во время полета, — каждая катила за собой по чемодану от «Луи Виттон». Очки кинозвезд на носах, многообещающие улыбки на лицах и, я готов был поспорить, никаких трусиков под юбками. Маша раскрыла над головой ярко-красный летний зонт, который покачивался в такт движениям ее зада.

Вид у них был праздничный. Они почти добились своего. Или мы почти добились своего. Ко времени нашего отлета в Одессу им осталось лишь нанести пару визитов в банк — и все.

Украинский пограничник долго расшифровывал мой экзотический паспорт. Стоявшая за мной в очереди старуха постучала меня пальцем по плечу и страдальчески осведомилась: «Скажите,

молодой человек, платить им обязательно?» В конце концов пограничник шлепнул по паспорту печатью, я прошел таможенный контроль и отправился на поиски моих спутниц. Они стояли в зале ожидания, торгуясь с таксистом (золотые зубы, всесезонная кожаная куртка, сияющие полуботинки с носами настолько острыми, что годились в качестве отмычки).

И, едва лишь мы направились к автостоянке, он спросил у меня:

— Девочками не интересуетесь?

Я засмеялся — ни дать ни взять, занервничавший иностранец. Катя засмеялась тоже.

— А правда, — произнесла Маша тоном, которого я до того не слышал, — ироничным, но почему-то и жестким, насмешливым, подводящим некий итог. — Ты не интересуешься девочками, Коля?

Центральное отопление в Москве выключили недель за пять до нашего отлета в Одессу, где-то в конце апреля. Мы с Машей сидели у меня дома: она, закутавшись в мой халат, смотрела по телевизору какое-то реалити-шоу, я наслаждался предварительной любовной игрой с моим новым «Блэкберри», — и вдруг мы услышали в трубах отопления характерный хлопок, короткий, но

отчетливый выстрел из стартового пистолета, сказавший: лето пошло, спешите втиснуть вашу жизнь и вожделения в несколько недолгих теплых месяцев. За окнами все таяло, снег и лед сбегали с крыш, точно дождь, льющий из низко нависших туч. В ресторанах иностранцы улыбались друг другу как люди, выжившие в катастрофе и лишившиеся от радости дара речи. Все закончилось: пробежки по ледяным улицам из одного перетопленного здания в другое, бесконечное влезание в теплую одежду и вылезание из нее, марафон русской зимы, участвовать в котором ни один находящийся в здравом рассудке человек не захотел бы. И это ощущалось как чудо.

В наших с Машей отношениях также наступила пора теплая и сладкая. Теперь-то я понимаю, она была подделкой, — а может, понимал и тогда. Однако в каком-то смысле то время было для меня самым настоящим, самым честным. Мною все еще владела любовь, хотя ее уже можно было назвать и наркотической зависимостью. Думаю, я обязан признаться в этом. Прости, если причиняю тебе боль.

Мы много разговаривали. Маша рассказывала о зимах ее детства, о войне гангстеров, которая

охватила ее город в начале девяностых, — бандиты мэра сражались с громилами губернатора. Когда кого-то из гангстеров убивали, братва украшала его могилу статуей в полный рост, державшей в руке настоящие ключи от машины покойного. В народе ту часть кладбища, где их хоронили, прозвали «мемориалом жертв раннего капитализма». Маша рассказывала, как ей, еще школьнице, хотелось уехать в Москву, — а не в Москву, так в Санкт-Петербург, а не в него, так, может быть, в Волгоград, в Самару, в Нижний Новгород — в какой-нибудь цивилизованный город, говорила она, где есть работа и пристойные ночные клубы, в какой угодно. Я тоже рассказывал ей о себе то, чего никогда никому не рассказывал, — быть может, кроме тебя. Не о моих секретах, если говорить точно, — у меня их и было-то всего ничего. Нет, я рассказывал ей о моих чувствах, о страхах, связанных с работой, с будущим, с одинокой старостью.

Мы даже снова заговорили — только теперь это походило на сочинение сценария или на игру — о том, как она когда-нибудь приедет ко мне в Англию. Хотя мне уже начинало казаться сомнительным, что и сам я смогу там жить; я чувствовал себя, как один из тех несчастных

обитателей какой-нибудь колонии, о которых тебе доводилось, я думаю, слышать, — как человек, проведший в Африке столько времени, что, возвратившись в родную страну, он долго в ней не протягивает. Я затруднялся представить себе жизнь в Лондоне — без снега, без дач, без пьяных армянских таксистов. Утратил ясные представления о себе самом. То был синдром слишком долго прожившего в России иностранца, представляющий собой, по моим понятиям, особо острый вариант поражающего некоторых при переходе от молодости к средним годам чувства, что у них нет никаких корней, что держаться в жизни им не за что. Впрочем, и Маша тоже плыла, на ее манер, по течению, но она-то, похоже, знала — куда.

Раза два или три я встречал Машу после конца работы у ее магазина, и мы гуляли по набережной или выпивали в ирландском пабе на Пятницкой. А однажды зашли, чтобы посмотреть на иконы, в Третьяковскую галерею — скользили по ее полам в дурацких бахилках, которые навязывают посетителям русские музеи, в первый раз я ужасно стеснялся их, пока не обнаружил, что точно в такие же обуты все, кого я вижу вокруг. Маша знала, похоже, имена всех святых и названия

всех невезучих городов, которые Иван Грозный или еще кто-нибудь предавал на картинах огню и мечу, но особого интереса к ним не питала, лишь изображала его. Однако со мной она была нежной, по крайней мере временами, ласкала меня в постели, когда все заканчивалось, а раз или два вылезала из нее поутру, набрасывала мою плохо выглаженную рубашку и приносила мне кофе.

Благодаря Ольге у нас имелись на руках почти все документы, связанные со старой квартирой Татьяны Владимировны. И перед самым Днем Победы Маша, Татьяна Владимировна и я отправились в психиатрическую клинику, чтобы раздобыть последний из них — официальное подтверждение того, что при подписании договора о квартирном обмене Татьяна Владимировна пребывала в своем уме (Катя, готовившаяся, по словам Маши, к экзаменам, нас не сопровождала). Старуха, суровая молодая красавица и иностранец в очках: думаю, каждый, кому мы попадались на глаза, находил нашу компанию подозрительной.

В любой системе подземного транспорта имеются свои официальные и неофициальные правила. В лондонской подземке тебе надлежит стоять на эскалаторе справа, пропускать вперед

тех, кто выходит из вагона, никогда не заговаривать с незнакомцами и до времени завтрака в вагонах не целоваться. В Москве — подниматься с места на станции, предшествующей той, на которой ты выходишь, и неподвижно стоять лицом к двери вместе с другими собирающимися покинуть вагон пассажирами, точно все мы — солдаты, ожидающие сигнала атаки, или христиане, которые готовятся выйти на арену римского цирка. А затем проталкиваться на платформу сквозь толпу старух, пихающих тебя локтями с остервенением, наводящим на мысль, что кто-то строго-настрого приказал им: пленных не брать.

Вот и мы, когда ехали за справкой, поднялись с наших мест на «Красносельской» и вышли из вагона на станции «Сокольники». Наверху ледяные бортики еще тянулись вдоль сточных канав, и лед еще держался за крошащиеся бордюрные камни, и серовато-черные комки его липли к подножиям уличных фонарей. Тротуары выглядели так, точно их полили охлажденным соусом. Однако девушки уже обрядились в короткие юбочки. И улицы снова запахли пивом и революцией.

Нужная нам клиника стояла посреди лабиринта облезлых восьмиэтажек советской постройки.

Вдоль них и между ними извивались толстые отопительные трубы — примерно такие же украшают в Париже Центр Жоржа Помпиду, только здешние были не так ярки и обмотаны асбестом. Мы вошли в вестибюль клиники, миновали стайку куривших медсестер и поднялись по двум лестничным маршам в отделение психиатрии. Там слегка попахивало газом и где-то громко капала вода. Мы увидели двух пациентов в больничных халатах — на голове одного красовалась широкополая соломенная шляпа. У психиатра висел на стене диплом в рамочке, сидели на носу очки а-ля Джон Леннон, а щеки покрывала трехдневная щетина. На столе в беспорядке лежали какие-то документы, окружавшие старый красный телефонный аппарат и две пластмассовые чашки, одна из которых валялась на боку. На белом халате психиатра различались немногочисленные, впрочем, пятна крови.

— Она пьет?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — подтвердила Маша.

— Доктор, — сказала Татьяна Владимировна, — я пока что жива и могу сама отвечать на ваши вопросы.

— Если она пьет, — продолжал доктор, — справ-

ку я ей все равно выдать смогу, но это обойдется вам немного дороже.

Он прижал свои лежавшие на столе ладони одну к другой и улыбнулся.

— Я не пьющая, — сказала Татьяна Владимировна.

Психиатр наморщил нос. Записал что-то. Похоже, она его разочаровала.

— Наркотики? — с надеждой в голосе осведомился он.

Татьяна Владимировна рассмеялась.

— А вы кто? — сурово поинтересовался он у меня, словно сообразив вдруг, что мне здесь не место.

— Ее адвокат, — ответил я.

— Адвокат? Понятно.

Психиатр порылся в лежавших на столе бумагах. И начал задавать Татьяне Владимировне вопросы, ответы на которые, по-видимому, позволяли ему судить о здравости ума пациента.

— Ваше имя? — склонившись над столом, спросил он.

— Иосиф Виссарионович Сталин, — ответила Татьяна Владимировна. Лицо ее стало совершенно непроницаемым — думаю, она научилась этому на допросах давних времен — и оставалось

таким в течение времени, достаточного, чтобы воскресить надежды психиатра на получение дополнительной мзды. Но затем Татьяна Владимировна сказала: — Шучу.

Она назвала свое настоящее имя, дату рождения и имя нынешнего прощелыги президента, ответила еще на два-три вопроса, которые не затруднили бы и клинического умопомешанного. Мы заплатили четыреста рублей плюс триста за (по словам психиатра) оформление справки. Получили бумажку, удостоверявшую, что Татьяна Владимировна в своем уме, и откланялись.

Перед Одессой я увиделся с ней еще только раз. И дату *этой* встречи могу назвать точно: 9 мая, День Победы.

Я пригласил их — Машу, Катю и Татьяну Владимировну — к себе. Мы собирались посмотреть по телевизору военный парад на Красной площади, ближе к вечеру прогуляться по бульварам, а затем полюбоваться с Пушкинской расцветающим над Кремлем салютом.

День был чудесный. Мы с Машей уплетали блины, семгу и все прочее. Именно тогда я почувствовал, что мы с ней ничем не отличаемся от других супружеских пар — тех, что приглашают тебя на обед и показывают, как они счастливы,

как понимают друг дружку без слов, как умеют любить, как пусты и поверхностны их ссоры. После парада по радио начали передавать патриотические песни, и Татьяна Владимировна принялась обучать нас танцам военных времен — вальсу, по-моему, и еще одному, название которого я позабыл. Сперва она потанцевала со мной — Маша хлопала в ладоши, Катя смеялась, — потом с каждой из девушек. Мы перешли в гостиную, отодвинули кофейный столик к стене и потанцевали все вместе, я по преимуществу с Машей, а Татьяна Владимировна с Катей. Старушка покрылась потом, она улыбалась, вертела вокруг себя Катю, точно юная девушка, и раз или два вскрикнула — высоко и пронзительно, по-крестьянски, — казалось, эти взвизги исходили из самой глубины ее горла, а умение издавать их хранилось на дне ее памяти, если не в генах.

Под конец она согнулась вдвое, пыхтя, а наша троица плюхнулась на софу.

— Браво, дети, — сказала она. — Браво. И спасибо.

Помешательство русских на Второй мировой всегда казалось мне отчасти неприятным. Однако в тот день я понял: резвость, обуявшая Татьяну Владимировну, не имеет никакого отношения ни

к Сталину, ни к восточному фронту — ни к чему в этом роде. Ее источник — память о погибших возлюбленных, о молодости, о вызове обстоятельствам, о Ялте 1956 года.

А затем Маша принесла документы.

— Татьяна Владимировна, — сказала она, — я хочу, чтобы вы знали: Коля собрал все бумаги, касающиеся вашего нового дома в Бутове. Акт о владении, технический паспорт — все, доказывающее, что продажа квартиры будет законной и никаких сложностей не создаст. Вот они.

И Маша, подняв перед собой стопку бумажных листков, раздвинула их так, как раскрывала когда-то давно веер какая-нибудь петербургская герцогиня.

— Кроме того, у нас на руках все бумаги, связанные с вашей нынешней квартирой, которую Степан Михайлович так пока и не посмотрел.

Она подняла другую руку — с собранной Ольгой папкой; несколькими днями раньше я сам вручил ее Маше.

— Покажи их Татьяне Владимировне, Коля, — сказала, улыбаясь, Катя.

— Да, пожалуйста, Николай, — попросила Татьяна Владимировна. — Я не сомневаюсь, что они в полном порядке, просто хочется, чтобы вы

мне все про них объяснили. Тогда я буду совсем спокойна.

— Держи, Коля, — сказала Маша, протянув мне и бумажный веер, и папку.

Документ, который в России не продается, пока еще не изобретен. На Павелецкой, в подземном переходе, ведущем от станции метро к дурацкой башне, в которой я работаю, можно купить университетский диплом, вид на жительство, удостоверение, обращающее тебя в квалифицированного нейрохирурга. Иногда они оказываются подлинными — в том смысле, что их изготовляют продажные работники самых настоящих университетов, чиновники мэрии, сотрудники кремлевской администрации (с девяностых годов сохранился и оживленный рынок чистых бланков, из которых можно состряпать любой договор с проставленными на нем давними датами, — такие бумаги содержат даже соответствующие этим датам водяные знаки). Но встречаются и вопиющие подделки. Как раздобыла Маша впервые увиденные мною в тот день «бутовские» документы, я не знаю. Вид они имели достаточно убедительный: все те же водяные знаки, россыпь очень правдоподобных печатей. Может быть, некоторые подписи выглядели немного смеш-

но, да в уголках пары документов различались оставленные ксероксом сероватые тени, но ничего с очевидностью поддельного или способного вызвать тревогу в них не наблюдалось.

Я разложил документы на кухонном столе, сел за него вместе с Татьяной Владимировной. Сначала мы прошлись по бумагам, относившимся к ее старой квартире. Затем я показал ей те, в которых описывались приятные особенности бутовской, в частности документ, подтверждавший, что там никто не прописан. И тот, в котором стояло имя нынешнего ее правомочного владельца — Степана Михайловича.

День выдался хороший, грех было портить его. А кроме того, мы собирались в Одессу, и испортить эту поездку тоже было бы грешно. Да и зашли мы уже так далеко, что возвращение в исходную точку представлялось мне практически невозможным. Однако на деле все было и проще, и хуже этих моих объяснений. Я обязан сказать тебе, что, когда я показывал документы Татьяне Владимировне — да еще и в День Победы, — вся эта история казалась мне ничего не значащим пустяком. Неизбежным, почти естественным. Я понимаю, как это звучит, но больше мне оправдаться нечем.

— Великолепно, — сказала она, когда мы закончили. — Вы ангел, Николай.

— Да, — согласилась Маша, — Коля наш ангел.

И провела ладонью по моим волосам — очень легко, всего один раз.

— Рад стараться, — ответил я.

— Пошли, — сказала, вставая и потягиваясь, Катя. — Скоро салют.

Выходя из дома, мы столкнулись с Олегом Николаевичем. Мимо его квартиры мы проехали на лифте, однако, открыв дверь на улицу, я оказался с ним лицом к лицу, черный костюм и белая рубашка придавали ему сходство с джазистом или похоронных дел мастером, в руке у него был кейс — пустой, в этом я не сомневался. Я шел первым, за мной Маша с Катей, за ними Татьяна Владимировна.

Я поздравил Олега Николаевича с праздником великой победы его страны. Он в ответ поздравил меня с победой Британии.

— И вашего дедушки в том числе, — добавил Олег Николаевич. Когда-то, в то время мы еще помногу разговаривали, я рассказал ему о конвоях и о связях моей семьи с Россией.

— Олег Николаевич, — сказал я, — позвольте представить вам моих близких друзей, Машу

и Катю.

— Да-да, — ответил он, словно узнав их. — Ваши друзья.

— С Днем Победы, — сказала Катя и хихикнула. Он и она показались мне в тот раз опасливыми представителями разных цивилизаций, лишь по чистой случайности умеющими говорить на одном языке.

— Да, — сказал Олег Николаевич. — И вас, девушки.

— Вы нас простите, пожалуйста, — сказала Маша, — но мы спешим.

Олег Николаевич вжался, чтобы пропустить девушек, спиной в стену. Они проскользнули мимо него на улицу.

— Всего доброго, — негромко произнес он им вслед.

Татьяна Владимировна все еще стояла рядом со мной в вестибюле. Я не сумел придумать, как мне представить старушку, поэтому просто назвал ее имя.

— Рад знакомству, — сказал Олег Николаевич.

— Я тоже, — ответила Татьяна Владимировна.

Я увидел в глазах обоих настороженность и понял, что они оценивают друг дружку — происхождение, образование, сколько крови пришлось

каждому из них или их родным смыть со своих рук. Русские старики мгновенно производят такого рода титанические расчеты, подобно тому, как англичане присматриваются к обуви и прическе нового знакомого, прислушиваются к его выговору. Затем их глаза смягчились, плечи слегка опустились: оба пришли к заключению, что опасаться им нечего.

— Разрешите и вас поздравить, Татьяна Владимировна, — сказал Олег Николаевич.

— Шестьдесят лет, — ответила она. — Ведь шестьдесят, верно?

— Около того, — ответил он.

Я думаю, Татьяна Владимировна была лет на шесть-семь старше Олега Николаевича, однако оба успели получить свою долю войны, сталинизма, всего кошмара русской жизни. Оба были достаточно стары, чтобы помнить время, когда они верили во что-то, пусть даже предмет их веры оказался бесстыдным обманом. Людям помоложе в большинстве их верить уже не во что, даже тем, кто этого хочет. Нет у них ни коммунизма, ни Бога. Память о Боге и та утрачена.

— Нас тогда в Казань отправили, — неожиданно сообщил Олег Николаевич, — на Волгу. Отец работал в физическом институте. Два года прове-

ли вне Москвы.

— Ленинград, — произнесла Татьяна Владимировна, назвав только город, ничего больше.

Олег Николаевич кивнул.

Мы с ней уже отошли на несколько шагов от подъезда, когда Олег Николаевич окликнул меня:

— На минуточку, Николай Иванович. Всего на одну минуту, пожалуйста.

Татьяна Владимировна пошла в почти теплых сумерках к девушкам, а я вернулся к двери, к Олегу Николаевичу. Женщины стояли в нескольких метрах от нас и, думаю, могли услышать наш с ним разговор, если бы напрягли слух — и если бы захотели его услышать.

— Они там джакузи устанавливают, — сказал Олег Николаевич.

— Где?

— В квартире Константина Андреевича. Кто-то вселился в нее.

Я давно уж и думать забыл о друге Олега Николаевича, да, честно говоря, меня его судьба особо и не волновала.

— Кто?

— Понятия не имею. Никакого. Я знаком с одной женщиной из его дома, она мне и рассказала. Она

сама это видела.

— Что?

— Джакузи.

Он ждал ответа, однако мне сказать было нечего — как о джакузи, так и о его друге. Наверное, Олегу Николаевичу просто хотелось поделиться этой новостью, все равно с кем. И разумеется, он понимал: слишком поздно уже ждать помощи от меня или от кого-то другого. Так же как слишком поздно было высказывать мнение обо мне и о девушках — оно все равно ничего изменить не могло.

Чтобы прервать молчание, я сказал ему, что в начале июня уеду на несколько дней в Одессу.

Олег Николаевич посмотрел мне в глаза, потом окинул быстрым взглядом Машу и Катю, их платья в полоску. И произнес, обращаясь, казалось, к какой-то точке, находящейся между моими ключицами:

— Посади свинью за стол, она и ноги на стол.

Мы стояли, ожидая начала салюта, на площади Пушкина. Татьяна Владимировна — между мной и Машей, мы держали ее за руки. Думаю, ей нравилось находиться рядом с любящими людьми, даже если любовь их предназначалась не ей. Катя, прихватившая с собой пакетик бенгальских

огней, раздала их нам, каждый зажег свой и помахивал им в воздухе. А когда забухали пушки, мы вперились взглядами в небо над Кремлем, наперебой восклицая кто «ооо!», кто «ура!».

На прощанье Татьяна Владимировна сказала нам: «Веселитесь, дети», поцеловала девушек, потом меня — мне она еще и подмигнула.

Я взял на работе отгул, и в пятницу утром мы вылетели в Одессу. В последний миг выяснилось, что дом у пляжа рухнул, если, конечно, он и вправду существовал, и потому жить нам пришлось в гостинице. Заплатил, естественно, я, что дало мне возможность изображать, вселяясь с девушками в номер и выходя с ними к завтраку, бог весть какую важную шитику. Гостиница стояла на прелестной дремотной улице, обсаженной цветущими деревьями и заставленной статуями давно умерших, прославившихся чем-то одесситов; от улицы спускались к морю гигантские старинные ступени. В самой гостинице имелся ресторан, когда-то сообщавший ей, наверное, сходство с «Ритцем», и красивая деревянная лестница; из окон нашего номера открывался по утрам чудесный вид: летнее солнце, купающееся в темном, как нефть, море. Пересказывая тебе эти детали, я как будто вновь вижу их.

Номер мы сняли «полуторный» — большая спальня плюс что-то вроде детской с одиночной кроватью и общий для двух комнат балкон. Катя сразу же отправилась прогуляться и, если получится, пококетничать с кем-нибудь. Я, не стану скрывать, попросил Машу сбросить платье, приоткрыть дверцу платяного шкафа и встать перед его зеркалом так, как на том снимке, который она показала мне в начале нашего знакомства. Только теперь позади Маши сидел я, вглядываясь в ее спину, в отраженную зеркалом грудь и в себя самого. Наши глаза встречались в зеркале, отражения словно жались одно к другому, но настоящие мы оставались разделенными, уже далеко отошедшими друг от дружки.

Так я сидел, она стояла, и только глаза наши разговаривали, пока Маша не спросила, обращаясь к моему отражению: «Может, хватит, Коля?» В голосе ее прозвучала та же жесткость, какую я услышал в аэропорту. Вообще-то, в Одессе она была внимательной ко мне, старалась удовлетворить все мои прихоти, уже хорошо ей знакомые. Но выглядело это так, точно ее там на самом-то деле не было или меня уже не было с ней, в ее мыслях, и, возможно, как раз мое отсутствие и позволяло ей проявлять такую щедрость ко мне.

Мы переоделись, вышли из гостиницы. На самом верху лестницы, спускавшейся от нашей тенистой улицы к морю, мы увидели карликового крокодила, лысеющую сову и нервную обезьянку — все они ожидали, когда с ними сфотографируется какой-нибудь сговорчивый турист. На солнце было тепло, в тени почти холодно. Одесские кафе уже открывались в предвкушении сезона, раскидывая свои зонты и расправляя тенты, точно потягивающиеся после спячки животные. Стеснительные американцы неловко переговаривались поверх меню с невестами, которых они подыскали для себя с помощью Интернета и на свидания с которыми теперь прилетели. Между столиками одного кафе сновали две девицы в полихлорвиниловых сапогах до колен и подтяжках, раздавая рекламные листки стрип-клуба. Может быть, я и ошибался, считая, что религия этих, с таким пылом грешивших, славян умирает. Может быть, человеку, чтобы вести себя так аморально, необходимо во что-то верить — в неких одряхлевших богов, засевших в глубине его сознания, — богов, которых он столь рьяно низвергает.

После полудня мы взяли такси и поехали на пляж.

Я спросил у Кати:

— Как прошли экзамены?

— Какие экзамены?

— Твои, университетские.

— А, эти, — сказала она. — Отлично прошли.

Мы сидели в пляжном кафе, маленьком, бамбуковом. Тощие мальчики-подростки ныряли в холодное море с шатких катальных горок и с конца полуразвалившегося пирса. Песок выглядел издали вулканическим, я когда-то видел похожий на Тенерифе (давно, еще до тебя и до России). При ближайшем рассмотрении здешний оказался состоящим, по преимуществу, из сигаретного пепла. На Кате было просвечивавшее платье и красное бикини под ним. Маша покручивала солнечный зонтик. Глаз ее я за темными очками разглядеть не мог.

— Что ты там изучаешь, Катя?

— Бизнес… экономику… много чего. — Она улыбнулась. — Я очень хорошая студентка.

— Первая в группе, — добавила Маша, и девушки засмеялись. Я тоже.

От тянувшейся по верху пляжа бетонной дорожки несло мочой, но меня это почему-то не смущало. На дорожке какой-то старик приглашал желающих полупить по боксерской груше, а ста-

руха — взвеситься на стареньких весах. По пляжу во множестве дрыхли собаки. Казалось, скрывать было почти уже нечего. Они не сестры. Татьяна Владимировна им вовсе не тетя. Катя работает официанткой в узбекском ресторане. Все тайное успело стать явным.

Мы посидели на песке (Маша и Катя постелили на него пластиковые пакеты, чтобы не запачкать юбки). Договорились вечером вернуться сюда, в один из береговых ночных клубов, которые попадались нам на глаза по дороге. Купили три мороженых у старухи, показавшейся мне похожей на Татьяну Владимировну, и съели его в молчании.

О Сереже я узнал уже в гостинице, когда мы собирались снова покинуть ее.

Маша заперлась в ванной комнате, пустила там воду. Катя спала. Я видел ее сквозь соединявшую комнаты номера дверь — девушка лежала ничком, вытянув, точно труп, руки вдоль тела. Прождав с четверть часа, я постучал в дверь ванной комнаты, спросил у Маши, все ли у нее в порядке. Она после долгой паузы ответила: «Да» — голосом, прошедшим примерно половину пути от звуков, какие издаются во время оргазма, до предсмертного хрипа. Я включил телевизор:

соревнование тяжелоатлетов; выдержанная в манере мягкого порно реклама итальянских чат-линий; схватка мужчин в тесноватых костюмах, пытающихся придушить один другого посреди, насколько я понял, украинского парламента; странный военный парад: духовой оркестр и верблюды — прямая трансляция из Туркменистана. Я выключил телевизор. Откуда-то из-за гостиницы долетели два звука, по-любительски принятые мной за выстрелы. И тут мне попалась на глаза стоявшая на тумбочке у кровати розовая Машина сумочка. Я открыл ее и заглянул внутрь.

В сумочке лежали два паспорта — международный и внутренний, который русские приучены повсюду таскать с собой. Из них-то я и узнал ее фамилию. И только потом, когда было уже поздно, сообразил, что мог бы и адрес узнать — и записать. Возможно, и следовало бы, однако я торопился, ни о чем толком не думал и не сделал этого. Членская карточка фитнес-клуба и еще одна — ночного клуба где-то на Таганке, я о нем ни разу не слышал. Дисконтная карточка ново-арбатского магазина автомобильных принадлежностей; другая — кофейни на площади Пушкина с тремя печатями в графе «купите шесть пирожных, седьмое бесплатно»; проездной

на метро; около двух тысяч рублей и пятьдесят долларов. Еще я нашел клочок бумаги с записанным на нем телефонным номером Маши — все практичные москвички носят с собой такие, чтобы тот, кто украдет сумочку, мог бы спустя пару дней подослать к ее владелице какую-нибудь бабусю, дабы та вернула документы — за деньги, естественно. И фотография.

Вид у изображенного на ней мальчика был совсем младенческий. Фотография была черно-белой, паспортного размера, но я разглядел светлую челку, выбивавшуюся из-под чепчика с завязанными под подбородком мальчугана тесемками. Сказать что-нибудь наверняка я не мог — ежемесячные съемки малышей, их достижения, которые приводят в такой раж родителей, всегда были выше моего разумения, — но, по моим прикидкам, мальчику со снимка было около года. Виден он был только по плечи, однако можно было догадаться, что на нем матросский костюмчик. Мальчик наполовину отвернулся от камеры и смотрел вверх, в лицо женщины, на коленях которой сидел. В лицо Маши.

Я перевернул снимок. Кто-то написал на обороте: «С Сережей» — и поставил дату. Снимок был сделан месяцев за пять-шесть до моего с ней

знакомства. Стало быть, сейчас ему уже около двух, этому малышу. Я вернул снимок в сумочку, а сумочку — туда, где она совсем недавно стояла.

В тот вечер обе девушки надели платья-комбинезоны — Маша темно-синее, Катя, по-моему, лиловое — и накрасились, слишком густо. Обедать мы пошли в гостиничный буфет с украинской кухней. Я навалил на тарелку гору клецок, но почти ничего не съел — сидел за столом, и в голове у меня вертелся только один вопрос: «Кто такой Сережа? Кто такой Сережа? Кто такой Сережа?» Девушки обсуждали другой — где они проведут отпуск, если на это найдутся деньги (Мальдивы, Сейшелы, «Хэрродс»)? Потом мы поднялись на верхний этаж гостиницы, в бар, и выпили «Пина колада», потом взяли такси и поехали на пляж, в ночной клуб — «Рамсес», по-моему, или «Фараон».

Были первые выходные сезона, время еще не позднее, около половины одиннадцатого, холодно. Наполовину пустой зал с окутанной парами сухого льда сценой и пустынным танцполом. Окружавшие его столики жались к граням трех пластмассовых египетских пирамид. Мы сидели и ждали, когда что-нибудь начнет происходить, — разговаривать не пытались, не надеясь

перекричать техно-музыку. Зал, как это часто бывает в ночных клубах и на приемах, заполнялся медленно — и вдруг оказался набит битком. Маша с Катей пошли танцевать. Я отправился к стойке бара и застрял около нее, выпивая и озираясь вокруг.

Если не считать десятка или около того стереотипных бандитов в черных куртках, с толстыми, как стволы деревьев, шеями и стрижками приговоренных к смерти, я был лет на пятнадцать старше каждого из посетителей клуба. Длинноногая одесситка окинула мои джинсы и футболку таким взглядом, точно я — эксгибиционист или нищий. Начался стриптиз — жутковатый голый балет с участием неподвижной горы мужского мяса и двух женщин с неприятно длинными зубами и обвислыми грудями. Склонные к иронии посетители одобрительно аплодировали и свистели.

Когда стриптизерши собрали свое тряпье и удалились, я забрался на одну из пирамид, чтобы отыскать на танцполе моих девушек. Сейчас я в этом уже не уверен, однако моя дремотная память уверяет, что я пересек зал, направляясь к сцене, у которой засек их, — очки мои запотели, в ушах стучало, я беззвучно извинялся перед теми, кому

наступал на ноги. С Машей и Катей танцевали еще одна девушка и парень, — увидев, что я приближаюсь, они затерялись в джунглях рук и ног.

Я остановился перед Машей, стиснул ладонями ее виски, повернул лицом к себе и крикнул так громко, как мог:

— Кто такой Сережа?

— Что? — Лицо ее замерло, но тело еще пыталось пританцовывать.

— Кто такой Сережа, Маша?

— Не сейчас, Коля.

— Это твой сын?

— Коля, не сегодня.

— Он живет с твоей матерью? Она действительно болела, когда ты была девочкой? У тебя вообще есть мать, а, Маша?

— Не сегодня, Коля. Сегодня твоя ночь. Давай потанцуем.

Тело Маши снова начало двигаться. Я еще держал ее голову, однако Маша протянула руку мне за спину, к Кате, и я почувствовал, как локти Кати легли мне на плечи, как ее пальцы переплелись на затылке Маши с моими, дыхание овеяло мою шею, а крепкая грудь уперлась мне в спину.

Я был пьян — наполовину от «Пина колада», наполовину от того, что все понял. Я позволил Ка-

те оторвать мои руки от Маши, перестал кричать на нее и начал раскачиваться и шаркать ногами в обычном моем стиле школьного диско. Думаю, мы с Машей походили на воплощение дешевой мужской фантазии.

Однако в Одессе — и даже в большей мере, чем в Москве, — при правильном освещении и правильном количестве выпитого ты начинаешь видеть вещи такими, какими тебе их хочется видеть. Живут же с этим люди, значит, сможешь и ты. Я и жил — в ту долгую последнюю ночь. Сухой лед испарился, и я увидел за сценой клуба мерцание Черного моря, барашки волн, кативших сюда, чтобы отыскать нас в свете луны. Мне казалось, что я могу танцевать, — совсем как те, кто уже извивался на столиках и лез на сцену, дабы показать всем, этому юному лету, какие они молодые и красивые. Казалось, что бандиты зла никому не желают, что Маша, вполне возможно, целовала меня потому, что я ей нравился. Даже пирамида представлялась мне настоящей, мои фантазии попахивали счастьем, а ночь ощущалась как свобода.

Мы провели в постели лишь около часа, когда над водой забрезжил, пробиваясь к нам сквозь деревья и шторы на окнах, свет. Я попытался

найти на бедрах и животе спавшей Маши улики и знаки беременности и родов, но не нашел.

Глава пятнадцатая

К нашему приезду в Москве успело наступить лето. В тот год московская весна явно куда-то спешила и, казалось, закончилась почти за одну ночь, а то и пока люди сидели в кино. Они просыпались или выходили, моргая, из кинотеатра и обнаруживали, что на улице сильно потеплело: была весна — и нет ее. Во рту у меня стоял привкус гормонов, я ощущал прилив энергии. Что-то должно было случиться с этой энергией, кому-то предстояло сделать с ней это что-то.

Через несколько дней после нашего возвращения из Одессы, за день-два до назначенной даты подписания договора о квартирном обмене, мы с Машей снова навестили Татьяну Владимировну. Она встретила нас у двери своего дома и предложила прогуляться вокруг еще не до конца растаявшего пруда. Мы вручили ей очередной купленный для нее подарок — магнитик на дверцу холодильника, изображавший Одесский оперный театр и гордую голову царицы с ним рядом. Татьяна Владимировна поднесла магнитик поближе к глазам, осмотрела и спрятала во внут-

ренний карман своего тоненького темно-синего весеннего пальто. И сказала, что хотела бы еще раз побывать на Черном море.

— Побываете, — пообещал я.

— Может быть, — согласилась она.

Вот тут-то Маша и сообщила ей, что с обменом квартирами возникла проблема. А вернее сказать, две. Первая, обнаруженная, по словам Маши, мной, состояла в том, что, если Татьяна Владимировна обменяет, как и было решено, свою квартиру на новую, ей, возможно, придется заплатить налог на собственность, а это сотни тысяч рублей. Власти, сказала Маша, оценят стоимость новой квартиры и прибавят к ней пятьдесят тысяч долларов, чтобы определить номинальную стоимость старой. Результат получится выше порога, за которым начинается взимание налога на собственность. И Татьяна Владимировна может потерять свои пятьдесят тысяч, да еще и заплатить кое-что сверх них.

— Это правда, Николай? — спросила Татьяна Владимировна.

Не понимаю, почему она мне так доверяла. Маша взглянула мне в глаза — не подмигнула, чтобы подбодрить меня, не кивнула украдкой: к тому времени она уже знала, *что я* готов сказать

и сделать.

— Правда, — ответил я лучшим моим адвокатским голосом, даром что услышал об этом впервые. Позже я проверил: это не было правдой. Но выглядело вполне возможным вариантом развития событий.

Решение существует, объяснила Маша. Можно составить два отдельных договора: один о продаже старой квартиры Татьяны Владимировны — ровно за пятьдесят тысяч долларов; второй о покупке новой в Бутове — за сумму достаточно крупную для того, чтобы власти не сочли продажу обманом. Впрочем, сумма никакого значения не имеет, поскольку платить Татьяне Владимировне ничего не придется.

— Два договора, — сказала Татьяна Владимировна. — Понятно. А сколько пройдет времени до подписания второго договора — о покупке новой квартиры?

— Немного, — ответила Маша. — Совсем немного.

Татьяна Владимировна остановилась и некоторое время вглядывалась в носки своей обуви. Потом пожала плечами и сказала:

— Хорошо.

Вторая проблема такова, продолжала Маша,

ей позвонил Степан Михайлович и сказал, что квартира в Бутове почти готова, но только почти. Окончательная отделка займет неделю-две, пообещал он, самое большее три. Однако Маша предложила Татьяне Владимировне продажу старой квартиры не откладывать — подписать документы и взять деньги.

И добавила, что мы уже договорились с банком о дне, в который там пересчитают наличные, за что нам придется заплатить, даже если мы отложим сделку (В те дни продажа собственности, как и любые другие российские трансакции — покупка судей, подкуп налоговых инспекторов, — непременно производилась с передачей наличных, и только наличных, из рук в руки.)

— А мы обязаны платить банку?

— Да, Татьяна Владимировна, обязаны, — сказал я.

Однако, продолжала Маша, Татьяна Владимировна сможет жить в квартире у пруда до тех пор, пока не закончится отделка бутовской. Там только кухня и осталась — Степан Михайлович хочет поставить в ней новую мебель и посудомоечную машину, но это не займет много времени. Единственное, что придется сделать самой Татьяне Владимировне, — это выписаться

из старой квартиры, дать властям знать, что она там больше не живет. Какое-то время она вообще нигде жить не будет — официально то есть. Все это произносилось Машей без спешки и запинок, она не нервничала — никаких эмоций. Она была великолепна.

— Посудомоечная машина! — произнесла Татьяна Владимировна и рассмеялась.

Потом она замолчала, надолго, и я забеспокоился — вдруг она согласится и на это, хотя, должен признать, сильнее меня тревожило то, что она может не согласиться. Помню, я вглядывался в тротуар и дивился, почему он такой сухой. Деревья вокруг пруда ожили, покрылись чистой, свежей зеленью, с другого берега — из-под ресторанного тента — до нас доносился громкий стук. Волшебные животные на стене дома, стоявшего против окон Татьяны Владимировны, раскрывали когти, бросались на свою добычу, словно желая отъесться к лету.

В конце концов Татьяна Владимировна сказала:

— Хорошо. Встретимся в банке.

И мы пошли дальше.

На моей улице вылезли из своего снежного кокона «Жигули». На ветровом стекле их появилась

трещина, однако выглядела машина чище, чем была до своего исчезновения, — зима смыла с нее грязь и копоть. Проходя мимо дома, в котором жил — или жил когда-то — друг Олега Николаевича, я увидел рабочих-таджиков, завозивших в подъезд тачки с песком, листы фанеры и банки краски. На углу бульвара распахнуло окна, чтобы подышать теплым воздухом, летнее кафе. Тополя, рассаженные по всему городу каким-то гениальным советским планировщиком, уже зацвели и сбрасывали пушистые семена — июньская чума, пусть и не смертельная, которую москвичи называют «летним снегом». Пух этот лип к волосам людей, иногда пролезал в горло, сбивался по сточным канавам в большие комки, которые так нравилось поджигать пьяным подросткам.

Банк, в котором Татьяне Владимировне предстояло подписать договор и получить деньги, находился в той части Москвы, что называется Китай-городом. Стена в стену с ним стоял игорный дом, а напротив — магазин, торговавший дешевыми DVD. Я немного опоздал. День был будний, понедельник, по-моему, и мы занимались в нашем офисе новой ссудой. Деньги продолжали стекаться в Москву даже после того, что учинил Кремль с тем самонадеянным нефтяным

магнатом, его несчастным юристом и горсткой прогневавшихся держателей акций. К моему приходу все уже стояли у входа в банк: Маша и Катя в брючных, обтягивавших бедра костюмах, которых я прежде не видел; Степан Михайлович — с его собранными в хвостик волосами — в неопределенного цвета твидовой куртке; Татьяна Владимировна в плиссированной юбке и коричневой кофточке. Войдя в банк, мы миновали череду мрачных, восседавших за пуленепробиваемыми стеклами насупленных кассиров, прошли в дверь с кодовым замком и оказались в подобии зала заседаний с прорезанными под потолком, точно в тюремной камере, окнами и графином с тепловатой водой на столе.

Нас ожидали двое служащих банка, мужчина и женщина. Первому предстояло подписать документ, который пойдет в государственное бюро регистрации собственности, второй — пересчитать деньги, принесенные Степаном Михайловичем в потертом кожаном кейсе (откуда взялись вторые двадцать пять тысяч, я так никогда и не узнал). В дальнем конце комнаты имелась еще одна дверь, забранная сдвижной металлической решеткой, какими на ночь запирают изнутри магазины. Один из служащих

открыл эту дверь, мы гуськом прошли в нее и стали спускаться по винтовой металлической лестнице — двое банковских служащих, Степан Михайлович, Татьяна Владимировна и я, ее поверенный, — тишину нарушали только наши шаги да затрудненное дыхание старухи. Она шла впереди меня, и, когда кто-то закрыл за нами дверь, со скрежетом проехавшуюся по полу, и запер засов, я увидел, как голова ее дернулась, чуть повернувшись назад, — судорожное движение, ставшее у советских людей автоматическим.

Подвальное помещение было безоконным, душным, безжалостным склепом с деревянным столиком в центре, похожим на те, за какими мы с тобой когда-то давно писали экзаменационные работы, и свисавшей с потолка одинокой лампочкой. Стены его состояли из депозитных ящиков. Банковская служащая, которая должна была пересчитать деньги, полная пожилая армянка — так мне, во всяком случае, показалось, — вежливая, но явно очень усталая, села на единственный в помещении стул. Степан Михайлович достал из кейса деньги, пачки тысячерублевых бумажек общей стоимостью в пятьдесят тысяч долларов, и вручил их этой женщине для проверки. Все остальные обступили ее, тяжело дыша, и смот-

рели, как она веером раскладывает банкноты под ультрафиолетовой лампой, как разглядывает каждую в маленький окуляр вроде тех, какими пользуются ювелиры, и, набрав пачку, грузит ее в шумную счетную машинку. В конце она разделила банкноты на три высокие стопки, скрепила каждую круглой резинкой и уложила в угольно-черный депозитный ящик. Потом заполнила какой-то бланк и вдвинула ящик в стену.

Мы полезли, пыхтя, по лестнице. В комнате наверху Татьяна Владимировна и Степан Михайлович сели за стол. Я встал у стены между Машей и Катей. Татьяна Владимировна подписала новый договор о продаже, в спешке составленный по моей просьбе Ольгой: она отдает квартиру и получает пятьдесят тысяч долларов. Подписала быстро, не читая, и с улыбкой повернулась к нам. Служащий банка объяснил, что копия договора будет направлена в бюро регистрации собственности. Когда она пройдет проверку, то есть через неделю-другую, бюро пришлет в банк документ, утверждающий Степана Михайловича в качестве нового владельца квартиры, и он получит дубликаты ключей от нее, которые до той поры будут храниться в банке, а Татьяна Владимировна сможет прийти сюда за деньгами.

— Поздравляю! — сказала Маша.

— Ой, Татьяна Владимировна! — воскликнула Катя, подскочила к старушке и обняла ее, так и сидевшую за столом, сзади.

— Поздравляю! — сказал и я.

— Спасибо, — ответил Степан Михайлович.

— Посудомоечная машина! — произнесла Татьяна Владимировна и засмеялась.

Примерно в то же время снова исчез наш инспектор, Вячеслав Александрович. Ссуда была уже выдана полностью, предполагалось, однако, что мы подтвердим выполнение всех условий договора и соблюдение сроков работ, — в частности, возможность осуществления первых поставок нефти уже нынешним летом, — это означало бы, что проектная компания начнет возвращать ссуду в соответствии с установленным нами графиком выплат. Однако телефон Вячеслава Александровича оказался отключенным, а его электронная почта автоматически рассылала в ответ на любое письмо сообщение о том, что ему крайне жаль, он просит простить его, но, возможно, прежде, чем он сможет ответить, пройдет какое-то время. И Казак тоже вдруг оказался недоступным. Сергей Борисович заглянул в то стоявшее напротив Кремля здание, где мы прове-

ли с ним последнее совещание. И тут выяснилось, что принадлежит оно торгующей нефтью компании, во главе которой стоит неимоверно жирный узбек, откровенный уголовник. Его подчиненные заявили, что ни о каком Казаке сроду не слыхали, и попросили Сергея Борисовича очистить помещение. Обратившись же в «Народнефть», мы получили — в письменном виде — ответ, сводившийся к тому, что эта компания никакой юридической ответственности за деятельность совместного предприятия не несет. Паоло сказал, что причин пугать банки у нас пока нет, однако я видел, что он сильно занервничал: под глазами появились темные круги, а кроме того, он начал то и дело ругаться по-итальянски. Казака он теперь называл не иначе как «приятель Николаса». В офисе его сторонились, и тот, кто случайно оказывался в одном с ним лифте, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, не отрывая глаз от красных цифр над дверью и ожидая возможности выскочить наружу.

В день, когда поступило подтверждение от бюро регистрации собственности, я уйти с работы не смог и потому не видел картины, которую рисовало мне воображение: Татьяна Владимировна вперевалочку покидает банк, унося с собой

большой пластиковый пакет с переведенными в рубли пятьюдесятью тысячами долларов, и направляется к квартире, в которой она прожила сорок лет и надеялась остаться еще дней на десять, до середины июня — времени, когда дни становятся самыми длинными, а зима начинает казаться сном. С этой частью происходившего они ничего сделать не могли. За нее отвечал банк, служащие которого никому, кроме Татьяны Владимировны, деньги не выдали бы. А значит, они должны были оказаться в ее руках — по крайней мере, на какое-то время.

Перед тем как мы попрощались с ней — в тот раз, когда эти деньги были пересчитаны и положены в сейф, — Татьяна Владимировна пригласила нас в последний раз посетить ее квартиру. Дорога от банка до дома заняла совсем немного времени. В коридоре квартиры стояли одна на другой уже заполненные вещами коробки. Мебель выглядела голой, смущенной. Тарелки и дипломы больше на стене не висели. В кухонной раковине лежал букет цветов. Татьяна Владимировна рассказала, что их поднесли ей, вместе с новым радиоприемником, коллеги — в конце прошлой недели, в последний ее рабочий день.

Я тоже получил от нее подарок. Она сказала, что вещей у нее слишком много, непонятно даже, сможет ли она разместить все их в Бутове, да и зачем ей столько? А кроме того, она хотела, чтобы у меня осталась какая-то память о нашем знакомстве. И потому подарила мне свою фотографию — ту с гимнастическим обручем, сделанную, когда сорок лет коммунистического вранья и нехватки самого необходимого, затем десятилетие надежд, нового вранья и новых нехваток и, наконец, знакомство с Машей, Катей и со мной — все это было еще впереди. Снимок мне принимать не хотелось, но Татьяна Владимировна настаивала. По-моему, ты однажды увидела его в ящике комода и спросила, кто на нем изображен, а я пробормотал что-то насчет сувениров, но правды тебе не сказал. Из всего, чем я обладаю, — а обладаю я для человека моих лет и с моим банковским счетом не столь уж и многим — фотография Татьяны Владимировны, сделанная в пору ее черно-белой юности, это первое, с чем я был бы счастлив расстаться, первое, от чего мне хотелось бы избавиться, однако выбросить ее я почему-то не могу.

Глава шестнадцатая

Как я уже говорил, — запах.

Цветы возвратились на отведенные им в центре бульвара места — нарядные батальоны тюльпанов и анютиных глазок. Во исполнение секретной статьи Российской конституции половина женщин, которым еще не исполнилось сорока, переоделась проститутками. Теплый воздух и бензиновые пары создавали над крышами новоарбатских казино подобия миражей. Была середина июня, и Константин Андреевич начал повонывать.

Я вышел из моей квартиры ранним вечером, собираясь, сколько я помню, встретиться со Стивом Уолшем в американском «ресторане-автобусе», стоявшем неподалеку от площади Маяковского. Спускался я по лестнице и, поравнявшись с квартирой Олега Николаевича, увидел сидевшего на коврике у двери Джорджа. Это был старый подагрический белый кот с розоватыми ушами и всегда приводившими меня в недоумение розовыми же глазами, с животом, как у беременной котики, но с тощим, все кости наружу, хвостом. Он сидел с

видом существа, страдающего посттравматическим стрессом, и смотрел в стену перед собой. Я наклонился, погладил его, потом нажал на кнопку звонка Олега Николаевича — раз, другой, — но ответа не получил. Джордж поднял на меня розовые глаза. Я оставил его сидеть на коврике, спустился по лестнице, вышел на улицу и набрал полную грудь вкусного вечернего воздуха.

Первым, кого я увидел, был Олег Николаевич. Стоял он спиной ко мне, однако я сразу понял: это Олег Николаевич — в помятом костюме, с низко склоненной, как у молящегося или плачущего человека, головой. Вокруг него прохаживалось, разговаривая, изрядное число людей, а он стоял неподвижно и одиноко, и никто к нему не обращался.

Людей на моей улице собралось столько, что ничего кроме них я не видел, однако исходивший от Константина Андреевича запах гниющих фруктов учуял сразу. А потом, приблизившись метров на десять, увидел ногу.

Только одну, свисавшую из багажника оранжевых «Жигулей» поверх грязного номерного знака. Помню полуботинок, в который она была обута, серый носок над ним и полоску зеленоватой кожи над носком. Все остальное еще оставалось,

благодарение Богу, в багажнике, но я почему-то не сомневался: это Константин Андреевич, пропавший друг Олега Николаевича. Я подошел к моему соседу, увидел редкие завитки белых волос на макушке его склоненной головы и уперся, как и он, взглядом в землю. Так мы и простояли не то три минуты, не то целое столетие — я и он, соединенные, но отдельные. Олег Николаевич даже и не взглянул в мою сторону, и все же я понимал: он знает, что я рядом.

В конце концов я сказал:

— Ужасно. Просто ужасно.

Только тогда он поднял на меня взгляд, открыл рот, но лишь сглотнул и снова уставился в землю.

У самой машины переминались с ноги на ногу пятеро или шестеро милиционеров. Двое-трое из них разговаривали по мобильникам. Одеты все были в странноватые голубые рубашки, просторные в области живота и стягиваемые снизу резинкой, — такие носят в летнее время все московские милиционеры; ниже рубашек покачивались на бедрах пистолеты. Эти ребята смахивали на гостей, собравшихся на неспешные российские «шашлыки». А на капоте «Жигулей» сидел, покуривая, тот самый молоденький сле-

дователь, с которым я виделся и которого не пожелал подкупить несколько месяцев назад, когда пытался, правда не очень усердствуя, помочь Олегу Николаевичу в поисках его обреченного друга.

— Привет, — сказал я.

— Привет, англичанин, — ответил он.

Похоже, молодой человек обрадовался, увидев меня. Одет он был в черные джинсы, матерчатую куртку и темную футболку под ней с изображением пинтовой кружки пива «Гиннесс» на груди.

— Вы знаете, кто это сделал?

Он усмехнулся. Прыщей у него за то время, что мы не виделись, стало больше.

— Пока нет. Может, завтра узнаем.

— А почему тело бросили здесь?

— Откуда ж мне знать? — ответил он. — Скорее всего, убийцы хотели его увезти, да кто-то их спугнул. А после они решили, что разъезжать по Москве с мертвым стариканом в багажнике опасно. Хотя, может, и собирались вернуться за ним, да не собрались. Похоже, он тут долго пролежал. Глядишь, и с прошлого года.

Я вспомнил рассказ Стива Уолша об убийствах, для которых подряжают киллеров-дилетантов и киллеров-профессионалов. И спросил у

следователя, не мог ли именно такой вариант использоваться и в случае Константина Андреевича.

Следователь на пару секунд задумался, потом сказал:

— Очень может быть. Его, я думаю, молотком пришибли — или кирпичом. Взглянуть не желаете?

— Нет, спасибо.

Я отошел к церковной ограде. За нею сквозь грязь пробивалась к жизни желтенькая трава. Я позвонил Стиву.

— Он мертв, — сказал я.

— Так ты задержишься? Я думал, мы после к «Альфи» заглянем.

Так назывался стоявший вблизи зоопарка ресторанчик, в который русские девушки, притворявшиеся проститутками, и проститутки, притворявшиеся порядочными девушками, приходили, чтобы потанцевать на столах, а иностранцы средних лет — чтобы поглазеть на них. Мне там всегда нравилось.

— Константин Андреевич, — сказал я, — друг моего соседа. Его убили.

И я рассказал Стиву о ноге и молотке (или кирпиче).

— Я же говорил тебе, что его нет в живых, — сказал Стив. И добавил: — Скорее всего, дело в квартире.

— Что?

— В его квартире. Квартира у него есть?

— Да, — ответил я. — Есть. Была.

— Ну вот, — сказал Стив. — В ней все и дело. Можешь мне поверить. Людей тут обычно из-за квартир убивают — если не спьяну и не из ревности.

В девяностых, принялся объяснять Стив, и в голосе его проступили ностальгические интонации, которые звучат в рассказах московских ветеранов о дорогом их сердцу десятилетии воровства и распутства, имущественные преступления были еще более жестокими. После падения коммунизма московское правительство почти задаром раздало большую часть столичных квартир тем, кто в них жил. Ну и началось. Какая-нибудь прохиндейка женила на себе владельца квартиры, потом вызывала из Ростова или еще откуда братьев, родных либо двоюродных, те его устраняли, а она получала наследство. Или ребята просто пытали бедного долдона, пока тот не подписывал дарственную на квартиру, а потом растворяли его труп в кислоте или топили

в Москве-реке.

— Однако теперь Россия стала страной более цивилизованной, — сказал Стив, — и бандиты работают тоньше. Находят какого-нибудь одинокого старикана, кончают его и заставляют продажного судью признать их законными наследниками покойного. И все — квартира достается им.

— Но разве для этого не требуется тело? — спросил я. — Как доказательство его смерти. Разве не нужно, чтобы его нашли?

— Господи, Ник, а я тебя юристом считал. Нет, никакого тела не требуется. В России, если человека никто не видел пять лет, он считается мертвым. *Finito.* Но — и это самое замечательное — благосклонный к тебе суд может объявить любого покойником и через полгода после его исчезновения. Претендент на квартиру должен всего-навсего доказать, что в последний раз пропавшего видели в опасной ситуации. А это нетрудно. Может, он рыбу ловил на льду. Может, пьяным купался в реке. Может, грибы собирал в таком лесу, где кроме поганок ничего не растет. Проходит полгода, он мертв, и квартира достается претенденту. Когда исчез Константин Андреевич?

— Не знаю, — ответил я. — Не помню. Может быть, в октябре. Что-то в этом роде.

— Достаточно давно. Даже для того, чтобы успеть продать квартиру.

Думаю, до той минуты мне еще удавалось убеждать себя — в той мере, в какой я вообще об этом думал, — что ничего страшного не случилось, что история с Машей, Катей и Татьяной Владимировной, может быть, и некрасива, может, даже дурна, но *не настолько же.* Что она не похожа на *эту.* Мне следовало бы повнимательнее прислушиваться к их разговорам. Впрочем, я мог и сам догадаться, к чему идет дело. Да не исключено, что и догадывался. Догадывался и продолжал вести себя как ни в чем не бывало. Но, когда нога Константина Андреевича выставилась из багажника «Жигулей», а Стив рассказал мне краткую историю квартирных махинаций, притворяться ничего не понимающим я больше не смог.

— Но ведь для того, чтобы договориться с судьей, — сказал я, — мошенникам необходимы деньги, так? Необходимы связи. А если их нет? У преступников. Если они — просто мелкие жулики, да еще и из провинции, всего-навсего парочка молодых людей?

— Есть и другие способы, — ответил Стив. — В

случае, о котором ты говоришь, нужно найти старого простофилю, желательно не имеющего родни. Потребуется, наверное, немного терпения и изобретательности, но все же дельце обделать можно. Способов куча. Это совершенно московское преступление, Никки. Приватизация, плюс взлетающие в небо цены на жилье, плюс отсутствие принципов равно убийству. Но скажи, почему ты думаешь, что там сработали мелкие жулики?

Пришлось пойти на попятный.

— Да нет, — сказал я, — мне ничего не известно.

И, помолчав несколько секунд, прибавил:

— Он лежал в машине, Стив. На моей улице. Под снегом. То есть машина была под снегом. Похоже, провел здесь всю зиму. Погребенным в снегу.

— Подснежник, — сказал Стив. — Тот, о ком ты говоришь, — подснежник.

И объяснил мне, что так они называются у русских — трупы, которые словно бы всплывают на поверхность при оттепели. Большей частью это останки пьяниц или бездомных — людей, которые, просто сдавшись, сами ложатся под белый покров, — ну и жертвы, зарытые убийцами в сугробы. Подснежники. — Я уже говорил тебе,

Никки, — сказал Стив. — Когда придет конец света, он придет из России. Слушай, так ты появишься в «Альфи»?

Закончив разговор с ним, я вернулся к Олегу Николаевичу. Тот уже распрямился, но с места не сдвинулся.

— Олег Николаевич, — сказал я, — мне очень жаль. Очень, очень жаль.

— До Бога высоко, — произнес, глядя себе в ноги, Олег Николаевич, — до царя далеко.

Я мог бы сказать, что на дальнейшее меня толкнули угрызения совести. Мне даже хотелось бы сказать это. Может быть, и угрызения, но вместе с любопытством и чем-то другим, гораздо менее симпатичным, — не исключено, что трепет, который вызывала во мне мысль о моей причастности к этой истории, был дальним родственником гордости. Мне хотелось бы также сказать, что действовать я начал без промедления, вечером того же дня, когда увидел ногу. Однако правда состоит в том, что начал я и не в тот день, и, помнится, не на следующий. Но, в общем и целом, к поискам Татьяны Владимировны я приступил довольно скоро — в пределах недели, возможно, всего лишь недели. Хоть и не был уверен, что смогу найти ее.

Ни с Машей, ни с Катей мне со времени нашего свидания в банке — когда пересчитывались деньги и подписывались документы — поговорить ни разу не удалось. Вот этого я, правду сказать, не ожидал — внезапности конца. Я звонил и звонил по Машиному номеру, но слышал лишь российский сигнал неисправности связи — три резкие ноты, первая из которых достаточно высока, чтобы разбить стекло или свести с ума собаку, а следующие еще выше, — за ними передавалось сетевое сообщение, от которого у меня сразу опускались руки: телефон выключен или находится вне зоны обслуживания. Теперь, когда старуха прочно поселилась в моих мыслях, я попытался позвонить еще раз. И кончил тем, что пришел к дому Татьяны Владимировны и принялся жать на кнопку дверного переговорного устройства.

Жал я на нее минуту, может быть, две, стоя в накрытом тенями дворе, — дело было в субботу, чудесную, теплую. В конце концов дверь мне открыла японка — ни больше ни меньше, — и я, улыбнувшись ей, вошел, поднялся по лестнице и начал стучаться в дверь Татьяны Владимировны, поначалу тихонько — так, точно в квартире спит грудной младенец, или так, точно я вовсе и не хочу, чтобы меня услышали и открыли дверь.

Но затем стучал все громче и громче, быстрее и быстрее — точно чекист, которому выпала хлопотливая ночка. Никто так к двери и не подошел, только с верхнего этажа спустилась на несколько ступенек полная блондинка в халате и бигуди — стиснула лестничные перила и смотрела на меня, пока я не ушел.

Я направился к пруду, постоял на огибавшей его дорожке. Солнце уже припекало, поднимаемая порывами ветра беловато-серая, отдающая на вкус мелом пыль оседала на моих брюках. Я добрел до станции метро, прошел сквозь раскачивающиеся тяжелые двери, которые обрушиваются на пассажиров, как воспоминания о прошлых грехах. Я давно перестал придерживать их, как делал когда-то, открытыми перед тем, кто входил в метро следом за мной, — просто отпускал, давая двери возможность проявить в этом городе гладиаторов хоть какое-то милосердие.

Я поехал на метро в Бутово: теоретически, Татьяна Владимировна могла уже перебраться туда. Выйдя на улицу, поймал машину — на сей раз ее водителем оказался огорченный, но как-то не очень сильно, узбек, объяснивший мне, что совсем скоро, буквально с минуты на минуту, мусульмане поднимутся на последнюю войну

с русскими и всеми прочими. Когда машина, доехав до самого края столицы, повернула к нужному мне дому, я увидел за дорогой настоящие джунгли — деревья и кусты словно выплеснули из себя, спеша насладиться русским летом, листву. Между стволами виднелись уходившие в лес люди, одни несли маленьких детей, другие — бутылки. Машина остановилась у дома на Казанской — дома Татьяны Владимировны, или Степана Михайловича, или «Мосстройинвеста», или кого-то еще.

Я набрал на переговорном устройстве номер квартиры, в которой мы побывали зимой. Никто не ответил. Тогда я начал беспорядочно набирать номера других квартир. На сей раз этот фокус не сработал. А спустя какое-то время я обнаружил, что провода переговорного устройства — зеленый, красный и синий — просто болтаются под ним, ни к чему не подсоединенные. Я ударил кулаком по железной двери, перешел дорогу и окинул здание взглядом.

Солнце, висевшее в небе по другую сторону дома, заставило меня сощуриться. Включенного света я ни за одним из окон не увидел. Я долго вглядывался в стеклянную дверь углового балкона на восьмом этаже, ведшую в ту квартиру, где

должна была, предположительно, жить Татьяна Владимировна. Никакого движения за нею не наблюдалось. Мне показалось, что я различил контуры стоящего у стены кухонного буфета, но и только. Балкон так и остался пустым. А подняв взгляд повыше, я увидел, что окна самого верхнего этажа еще не застеклены. На подоконнике одного из них сидела жирная московская ворона.

Я тронулся в обратный путь, к станции метро. Однако по дороге решил порасспросить кого-нибудь о доме — что я на этом потеряю? Тем более что в Бутово мне, судя по всему, приехать больше не доведется. И я пересек заросший высоким бурьяном двор первой попавшейся мне по дороге дачи и поднялся по ступенькам к двери. Спавшего на поленнице огромного бурого пса я заметил, лишь когда покидал дачу. Я постучал. Дверь открыл старик — лет семидесяти пяти, а может, и пятидесяти, в России понять это всегда трудно, — одетый в зимнее пальто, но босой.

Извинившись за вторжение, я спросил, не может ли он сказать мне что-нибудь о новом доме — о том, что за дорогой.

— Нет, — ответил старик.

— Ничего?

Несколько секунд он разглядывал меня, пытаясь, полагаю, понять, опасный я мошенник или не очень. Глаза его были налиты кровью, щеки покрывала трехдневная щетина, зубы росли через один.

— Я так думаю, — сказал он, — у них денежки вышли.

— У кого?

— А я знаю? — Старик пожал плечами. — У начальников. Говорят, его теперь снесут.

— Кто говорит?

— Народ.

— Значит, в доме никто не живет?

— Никто, — ответил он. — Хотя не знаю. Меньше знаешь — крепче спишь.

Он улыбнулся мне в утешение щербатым ртом и закрыл дверь.

О том, где жили Маша с Катей, я имел лишь смутные представления и потому принялся обходить все места, какие только мог придумать, — ну, почти все. Если бы ты спросила меня тогда, чем я, вообще говоря, занимаюсь, то, вероятно, услышала бы: ищу Татьяну Владимировну, но такой ответ был бы лишь частью правды, и далеко не главной. Я мог бы сослаться на мои деньги, на двадцать пять тысяч долларов, однако

и их возвращение вовсе не было основной моей целью.

Первым делом я отправился в телефонный магазин у Третьяковской галереи. День был жаркий, магазин наполняли покупатели, обмахивавшиеся рекламными листочками со «специальными предложениями». Продавщица, к которой я обратился, заявила, что у нее дел по горло и что Маша уволилась. Управляющий магазином сказал: нет, как связаться с Машей, они не знают, — и указал мне на дверь. Я заглянул в ресторан на Неглинной, тот, в котором видел перед Новым годом работавшую в нем официанткой Катю. В ресторане мне весело сообщили, что Кать у них много, выбирай не хочу, а вот нужная мне давно уже здесь не появлялась.

После Одессы я проникся полной уверенностью в том, что нога Кати никогда в Московский государственный университет не ступала. Тем не менее я съездил и туда, к маниакальной сталинской высотке на Воробьевых горах. Помню, на эспланаде, которая тянется перед зданием университета и смотрит поверх реки на город — на Кремль, на церкви, на хаос зданий, — фотографировались молодые новобрачные. Невеста была в смахивавшем на безе платье с бретельками и вид

имела куда менее скромный, чем будет, я думаю, у тебя, если ты, прочтя это, все же выйдешь за меня замуж. Наряды ее подруг сверкали павлиньим великолепием, шафер и прочие мужчины щеголяли строгими гангстерскими костюмами. Все они показались мне трогательно обреченными. Я услышал крики гостей: «Горько, горько!» — ритуальная подсказка новобрачным: обнимитесь и сотрите поцелуями всю горечь ваших прежних жизней, пусть отныне в ней останется только сладость. Изваяния на фасаде университета — героические интеллектуалы, размахивающие книгами, похлопывающие ладонями по глобусам и идиотически взирающие в будущее, — напомнили мне о платформе «Площади революции», на которой я впервые увидел Машу. Охранник, опекавший двери главного университетского входа, не впустил меня в зеленоватый вестибюль; не знаю, впрочем, что бы я в нем делал, если бы меня и впустили. Я постоял снаружи, спрашивая у хорошеньких девочек в коротких юбках и юношей в дешевых джинсах, не знают ли они Катю, и наконец почувствовал себя смехотворно и унизительно старым. Когда я уходил, меня едва не сбил с ног катавшийся на роликах парень. Звезда главного шпиля подмигивала мне, освещенная

яростным солнцем.

Я позвонил в «Мосстройинвест». Разговор получился долгий, я даже начал бояться, что у моих собеседников лопнет терпение. В конце концов выяснилось, что ни о Степане Михайловиче, ни о Татьяне Владимировне там никогда не слышали. Думаю, у Степана Михайловича был в этой компании или среди строителей какой-то знакомый — человек, который мог ссудить ему на время ключи от квартиры в Бутове. Может быть, она-то, эта приманка, и подала им первую идею. И должен был существовать кто-то еще, состряпавший фальшивые документы. А больше ничего и не потребовалось — не считая меня, собравшего настоящие документы на квартиру Татьяны Владимировны и внушившего ей радостную уверенность в правильности происходившего. Ну а пятьдесят тысяч — надо полагать, решили они — помогут придать афере обличие честной сделки.

Единственным местом, которое я мог посетить, но не посетил, была дача, принадлежавшая старику, когда-то работавшему на железной дороге, — та, с похожей на платяной шкаф баней, волшебной кроватью в мезонине; дача, на которой я узнал, что Маша и Катя не сестры. Память о ней почему-то казалась мне слишком священной,

мне хотелось, чтобы она так и осталась вмерзшей в зимний лед, а не испачканной потом и разочарованиями лета. Это было бы уже слишком. Ты, наверное, думаешь, что мне следовало обратиться в милицию, что я и *должен* был обратиться в милицию. Я просто уверен: думаешь. Но что бы я там сказал? Что, собственно, произошло? Старая женщина продала свою квартиру. Две девушки куда-то уехали. Ничего не произошло. И к тому же, если было совершено преступление, так я и сам в нем участвовал.

В один из дней, потраченных на поиски Татьяны Владимировны, мне как-то показалось, что я увидел ее, не исключено, впрочем, что я просто внушил себе эту мысль. Произошло все на Тверской, в нижней ее части, неподалеку от Красной площади. Я поднимался по этой улице, чтобы встретиться с изнервничавшимся Паоло на летней террасе кафе, помещавшегося в здании консерватории. И мне показалось, что я узнал ее приземистое тело, целеустремленную походку — медленную, но решительную, как у наступающей армии, — ее, словно говорящую «А вам-то что?», стрижку «под горшок». Она шла по тротуару метрах в пятидесяти впереди меня. Я застыл на месте, всего на секунду, а потом побежал. Однако

тротуар заполняли люди, плотная толпа туристов окружала лоток, с которого продавали футболки с портретом Ленина и матрешки в виде Сталина. Все походило на сон, в котором бежишь, бежишь и не можешь сдвинуться с места. Ко времени, когда мне удалось добежать до углового здания Центрального телеграфа, я потерял ее из виду. Я запрыгнул на низкую стенку, которая ограждает спуск в подземный переход, обшарил взглядом Тверскую — вплоть до большого книжного магазина «Москва». Старуха исчезла.

Возможно, это была она, — я не говорю, что не была. Возможно. Не исключено, что и в эту минуту она бродит по Москве или Санкт-Петербургу с пятьюдесятью тысячами долларов в пластиковом пакете и младенческой улыбкой на устах. Может быть, они ее не тронули. В конце концов, квартиру они получили, вернуть ее обратно Татьяна Владимировна не смогла бы. Все документы о продаже были, спасибо Ольге, в порядке. Старуха осталась беспомощной, и жаловаться ей было не на кого. Кроме меня, быть может. А как найти *меня*, она знала.

Однако ко мне Татьяна Владимировна не пришла, и я сомневаюсь, что им так уж хотелось увидеть, как она стоит посреди улицы и пыта-

ется поднять шум — или просто тратит деньги, которые они могли прикарманить. «Нет человека — нет проблемы», — гласит старая русская поговорка, и, подозреваю, они позаботились о том, чтобы проблем у них не возникло. Это было не сложно, даже в отсутствие снега. Наверняка я ничего не знаю, но думаю именно так.

Я не уверен даже в том, что и сама-то Татьяна Владимировна всерьез надеялась перебраться в Бутово, нет, не уверен. Возможно, она не верила, что действительно будет собирать в лесу грибы, купаться в пруду, включать посудомоечную машину и смотреть со своего нового балкона на церковные купола. Мне не известно, чего она ожидала, но в последнее время я начинаю думать, что все, кто меня окружал, знали больше моего — и Татьяна Владимировна, и Маша, и Катя. Что они скрывали от меня свое знание, как скрывают от ребенка грязную тайну — до последнего, пока удается. И иногда я думаю, что в каком-то причудливом смысле все это было заговором, направленным против меня.

Впрочем, может, и не было. Может, наоборот, — и даже весьма вероятно, если быть честным настолько, насколько я на это способен, — направленный против меня заговор составил я сам

и сам пытался утаить от себя настоящую правду. Состояла же она в том, что я где-то, в какой-то миг переступил черту — в ресторане, на заднем сиденье машины, лежа под Машей или на ней, поднимаясь в лифте «Павелецкой башни». Каким-то образом я стал человеком, способным мириться с происходившим, что бы оно собой ни представляло, чующим дурное, но не обращающим на это внимания, заполняющим бланки и улыбающимся — пока ему дают то, что он хочет получить. До приезда в Россию я и не думал никогда, что могу обратиться в такого человека. Однако мог — и обратился.

Вот это я и узнал под конец моей последней русской зимы. Полученный мною урок касался не России. Да я думаю, что, когда завершаются твои отношения с кем-то, так оно обычно и бывает. Ты узнаешь много нового не о том, кого любил. О себе.

Это я был тем, кто стоял по другую сторону двери. И подснежником моим был я сам.

Глава семнадцатая

В конце концов мы с Паоло, уступив нажиму и банков, и нашего лондонского начальства, отправились на север, чтобы своими глазами взглянуть на производимые Казаком работы. Мы вылетели из смахивающего на скотобойню, обслуживающего внутренние линии аэропорта Шереметьево, самолет не разваливался, как мне показалось, исключительно благодаря клейкой ленте и возлагавшимся на него надеждам. Вид сверху открывался чудесный: северный ландшафт — сосновые леса, припорошенные все еще не желавшим сдаваться снегом, речушки, которые извивались, пенясь, среди деревьев, и море — спокойное и темное.

Ближайший к месту строительства аэропорт находился в Мурманске — городе, в котором выросли, по их словам, Маша и Катя. Я вспомнил об этом, лишь когда мы приземлились. То, что все завершилось именно здесь, представляется мне теперь и правильным, и горьким сразу. Тогда же я просто испытывал волнение, хоть волноваться было уже поздно, поскольку всему пришел

конец. А волновался я, думая о том, что увижу парки, на скамейках которых они могли сидеть, улицы, по которым они ходили, картины, составлявшие фон их жизней. Собственно, и дедушка мой навещал этот город в то время, когда здесь располагался ад на земле. Однако о дедушке я почти не вспоминал. На окраине города имелся большой военный мемориал, но я его не посетил. Не нашел времени.

Адрес проектной компании Казака относился, как объяснила нам гостиничная портье, к построенному в давние советские времена району. Это рядом с колесом обозрения, сказала она, — его мы уже увидели вращавшимся на горе у порта. Мы позвонили по номеру, который дал нам Казак, однако трубку никто не снял.

На следующий день мы с Паоло поехали на берег — туда, где, по уверениям Вячеслава Александровича, очень скоро должна была начаться перекачка нефти по протянутым к супертанкеру трубам. Дорога обрывалась в нескольких сотнях метров от моря. Мы вылезли из такси и пошли по ухабистой тропе. Стояла жара, в воздухе тучей вились комары. Мы сняли пиджаки, набросили их на плечи и шли, ругая этих тварей последними словами. На плоской площадке над морем глазам

нашим предстала прямоугольная, с покрытым засохшей грязью дном яма размером с корт для игры в сквош — в такой мог бы держать похищенную им девушку злодей из какого-нибудь триллера. Ни малейших признаков трубопровода, супертанкера или нефти мы не обнаружили. Ничего.

Паоло закурил сигарету и вытянул ее в одну затяжку. Мы простояли там минут десять, понемногу осознавая, как здорово нас поимели, — я, во всяком случае, занимался именно этим. А потом вернулись в гостиницу, чтобы напиться.

Обосновались мы в баре — дагестанец бармен и кореянка мадам — на верхнем этаже гостиницы. Пили долго и выпили много. Летом в этих местах светло круглые сутки, и даже в три часа утра мы отчетливо видели рисовавшиеся на фоне сентиментально розовых облачков силуэты похожих на парализованных насекомых портовых кранов и чаек, которые вились вокруг них. На самом деле, говорили мы друг другу, все произошедшее не было нашей виной. Бумажную работу мы проделали безупречно. Ну разве что Казаку предоставили свободу действий, быть может, несколько большую той, какой он заслуживал. Возможно, моя голова оказывалась иногда за-

нятой совсем другими делами. Но ведь мы же не инженеры и не частные детективы — мы всего лишь юристы. По сути дела, согласились я и Паоло, нам просто не повезло, мы оказались открытыми для удара именно в тот момент, когда Кремль изменил правила игры, когда кто-то решил, что месяц за месяцем вести бизнес и получать прибыли — работа слишком тяжкая, куда легче просто взять да и обобрать банки.

И все-таки мы понимали, что запятнали себя до скончания наших дней. Мне теперь о партнерстве и думать было нечего, а Паоло, вероятно, выставят на улицу — и ни бонусов, ни, весьма возможно, Москвы мы больше не увидим. И о неограниченной свободе действий тоже можем забыть.

— Гребаные британские Виргинские острова, — сказал Паоло. Я в это время смотрел вниз, на площадь перед гостиницей, на стоявший там, обгаженный птицами памятник Ленину. — Гребаный Казак. Гребаная Россия.

Зрачки его сузились до размеров налитых злобой черных точек. Впоследствии я немало думал о нем — гадал, к примеру, не был ли Паоло и сам замешан во всем этом. Думал о том, как он вел себя с Казаком, как временами выходил из себя,

думал о состоявшемся в канун Нового года совещании в «Народнефти», на котором мы одобрили ссуду, пытался припомнить подробности и слова, на которые не обратил тогда внимания. Однако все это мало что мне дало — во всяком случае, недостаточно для предъявления обвинений.

Мы выпили за нас, за Москву, за прощелыгу президента. Затем Паоло ушел в свой номер, прихватив с собой для уюта одну из пухлых подопечных корейской бандерши. Я же отправился к себе в номер, лежал на кровати, глядя в млечно-белое северное небо. Мне хотелось плакать, но я не плакал.

Несколько часов спустя — точного времени не знаю, однако я все еще был пьян и подавлен, хоть и ощущал странное воодушевление человека, которому нечего больше терять, — я встал, вышел из гостиницы и направился к кранам и к порту. Перешел железнодорожные пути по размалеванному граффити пешеходному мосту и оказался у одного из грузовых причалов. Тут до меня донеслась музыка: невдалеке стояло у воды кафе, и оно было открыто. Плиточные пол и стойка, за стойкой — толстый, с густо татуированными руками мужчина в переднике.

— С добрым утром, — сказал я.

— Слушаю, — сказал он.

— Кофе, пожалуйста.

Он насыпал в чашку чайную ложку «Нескафе», ткнул пальцем в электрический самовар, возвышавшийся в конце стойки. Я налил в чашку горячей воды, помешал ее, сел. В кафе пахло нефтью. Угрожающе гудел древний холодильник.

И тут я вспомнил, что рассказывала мне Маша о своем отце, и спросил:

— Скажите, атомные ледоколы здесь швартуются?

— Нет.

— А где?

— На другой стороне залива. Там особый военный поселок. Секретный.

И подводные лодки тоже там, прибавил он. Ту, что затонула несколько лет назад, как раз туда и отбуксировали, чтобы извлечь из нее разложившиеся тела несчастных ребят. Я видел — ему охота поговорить, но он считает нужным притворяться, будто это не так.

— И «Петроград» там?

— Кто?

— «Петроград». Ледокол.

— Нет. «Петрограда» там нет.

— Ну как же. Я уверен, что есть. То есть… я так думаю… Хотя, может, он раньше там стоял, а теперь его в утиль списали, а?

— Да нет, — ответил толстяк. — Нет там никакого «Петрограда». Я на этой базе двадцать пять лет протрубил. Механиком. «Петрограда» на ней нет и не было.

Я накрыл чашку ладонью. Руки мои дрожали. И мне вспомнился еще один рассказ Маши о ее мурманском детстве.

— А скажите, — попросил я, — колесо — ну, то, здоровенное… — Я ткнул большим пальцем себе за плечо, в сторону горы. — Дорого оно стоило в восьмидесятых? Я хочу сказать — слишком дорого для детей, не каждый ребенок мог на нем прокатиться, так?

— Да его там в восьмидесятых и не было, — ответил толстяк. — Колесо поставили в девяностом. Последнее, чем осчастливила нас советская власть. Я это помню, потому что женился в том году. И после загса мы пошли кататься на новом колесе.

С секунду он смотрел в пол, словно перебирая какие-то воспоминания — любовные или горестные, сказать не могу.

— Прокатиться на нем за двадцать копеек

можно было, — прибавил толстяк, — но в восьмидесятых его там не было.

«Народнефть» сняла с себя какую-либо ответственность за аферу Казака, сославшись на то, что обещала лишь перекачивать нефть и платить налоги — после того, как будет построен причал. Вывод своих акций на нью-йоркскую биржу она отложила. Разного рода министерства, в которые мы обращались, посылали нас на хер — в менее, впрочем, благовоспитанных выражениях. О Вячеславе Александровиче мы ничего больше не слышали. Скорее всего, люди Казака просто перевербовали нашего инспектора, — вероятно, при первом его исчезновении, после которого он представил нам лживый отчет. Может быть, припугнули или соблазнили деньгами или женщинами, а скорее всего, и то, и другое, и третье. Я его винить не могу. Нашу компанию утешало лишь то, что арктическую катастрофу, которую она потерпела, вскоре заслонили российские новости еще и худшего толка: крупные экспроприации в Москве, танки на Кавказе, страхи и вражда, которые словно изливались из Кремля, затопляя Красную площадь, а за нею и всю нищую, оглушенную Россию. Мы удостоились нескольких абзацев в «Уолл-стрит джорнал» и

«Файнэншл таймс» плюс почетного упоминания в статье Стива Уолша о наивных банкирах и нравах Дикого Востока.

Вскоре после случившегося с нами русские снова не поделили что-то с американцами, Кремль отложил выборы, и большая часть московских иностранцев начала поглядывать в сторону аэропортов. Я думаю, впрочем, что Паоло остался бы в Москве, если бы наша компания не уволила его в надежде умиротворить банкиров. Насколько мне известно, он обосновался в Рио.

Меня же не уволили, но отозвали в Лондон и со всевозможным тактом перевели, как тебе известно, в корпоративный отдел нашего головного офиса, чтобы я просиживал штаны в подвалах покупаемых или продаваемых кем-то компаний, просматривал документы и никогда, ни при каких обстоятельствах не заговаривал с клиентами, — это примерно то же, что перевод полицейского детектива обратно в регулировщики уличного движения. Я вернулся к тусклой жизни, каковую теперь и веду. Старые университетские знакомые, которые водятся со мной лишь из чувства долга или потому, что им не хватает духу дать мне от ворот поворот. Работа, которая меня убивает. Ты.

Думаю, я мог бы уволиться из компании и как-то зацепиться в Москве — попытаться, скажем, найти работу у какого-нибудь многообещающего стального магната или алюминиевого барона, — мог бы, если бы у меня все еще была Маша. Я знал, что она, в сущности, не любила меня — не могла любить. Но наверное, продолжал бы тянуть прежнюю лямку, встречаясь с нею два раза в неделю, приводя ее к себе, сознавая, что другого или лучшего меня не существует, что я и подался бы куда-то еще, но прикован к Москве тяжкой инерцией приближающейся поры среднего возраста. Не думаю, что меня так уж сильно тревожили бы мысли о том, многое ли в рассказах Маши о себе было правдой, — и даже о том, что она натворила. И без Татьяны Владимировны я как-нибудь прожил бы. Наверное, даже сумел бы забыть о ней. И потому, на мой взгляд, Маша оказалась в конечном счете лучшим, чем я, человеком. У нее было оправдание — Сережа. И она, по крайней мере, вела себя, как человек, понимающий, что он совершает зло. Не знаю, кто там был у них главным, но надеюсь, Маша получила достойную долю того, что они прибрали к рукам.

За пару дней до моего отъезда из России я снова пришел к старому дому Татьяны Владимировны.

Пришел в последний раз и, если говорить честно, скорее из ностальгии, чем по причинам нравственным и благородным. Как обычно, я стал беспорядочно набирать на дверном переговорном устройстве номера разных квартир, и в конце концов кто-то впустил меня в дом. Я поднялся по лестнице к двери ее квартиры. Дверь оказалась обитой бордовой кожей, которой я прежде на ней не видел, а над верхним левым ее углом была закреплена неторопливо поворачивавшаяся камера наблюдения, которая провожала меня, приближавшегося к двери, словно собираясь пронзить лазерным лучом. Я нажал на кнопку звонка, услышал шаги, почувствовал, что меня разглядывают через глазок, услышал три-четыре поворота ключа и лязг сдвигаемого засова.

Мужчина был в шелковом кимоно, с зеленой косметической маской на лице — поначалу я его не узнал.

Я начал:

— Извините, пожалуйста… — И умолк, пытаясь понять, где же я его видел. Видел точно, но где, вспомнить не мог. Может быть, на работе, думал я, или на каком-нибудь приеме — скажем, на одном из коктейлей, которые английское посольство устраивает в день рождения королевы.

— Да?

— Извините, пожалуйста…

Мы стояли у двери, он ждал, когда я закончу уже дважды начатое мной предложение, и я видел, как выражение скуки сменяется на его лице выражением не сильного, но беспокойства. И тут я вспомнил. Это был тот самый мужчина в шикарном пальто, с которым я столкнулся несколько месяцев назад у Татьяны Владимировны, — я тогда только-только вошел в ее квартиру, а он уходил. Подстрижен он был, как и в тот раз, безупречно. Взглянув поверх его шелкового плеча, я увидел, что вывезенная из Сибири люстра исчезла, а стены коридора окрашены зеленой, как трава, краской. Впрочем, неизбывный паркет остался на месте. Я слышал звуки текущей из крана воды и лившейся из радиоприемника музыки. И подумал: «Они продали ее еще до того, как купили».

— Я хотел спросить, не известно ли вам, где сейчас старая женщина, которая жила здесь прежде? Татьяна Владимировна?

— Нет, — ответил мужчина. — Не известно. Извините.

Он улыбнулся и неторопливо закрыл дверь.

Я вышел из дома, постоял немного у пруда. И

решил еще раз — последний — набрать Машин номер. Я услышал длинные гудки, гудки, гудки, но автоматического сообщения о том, что абонент недоступен, не получил. Гудки, гудки, гудки — и неожиданно она ответила.

— Алло? — Нетерпеливый, говорящий, как это принято у русских, «время — деньги», голос.

Не Машин — мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто это. Катя.

— Алло?

— Катя?

Она замолчала. Где-то на другой стороне пруда, рядом с гревшимися на солнце фантастическими животными, со звоном разбилась бутылка. Думаю, на Машиной сим-карте остались какие-то деньги и девушки не захотели терять их. Решили, скорее всего, что я или кто-то еще, с кем они не желали разговаривать, уже устал набирать этот номер и потому можно снова без опаски активизировать его.

— Катя, это я, Коля.

Какое-то время она продолжала молчать, но затем:

— Да, Коля.

— Как ты?

— Нормально.

— Я могу поговорить с Машей?

— Нет, Коля. Невозможно. Маша уехала.

— Повидаться с Сережей? — спросил я и не узнал своего голоса. — Она поехала к Сереже?

— Да, Коля. К Сереже.

Я не обдумал толком того, что собирался сказать, — и что хотел выяснить. И понял: Катя сейчас прервет разговор.

Поэтому начал я с самого начала:

— Почему именно я, Катя? Почему ваш выбор пал на меня?

Катя снова помолчала, пытаясь, я полагаю, сообразить, стоит ли говорить мне правду, во что это может ей обойтись. И должно быть, решила, что ничего я им сделать не смогу.

— Ты слишком долго смотрел на нас, Коля. Тогда, в метро. Мы поняли, что с тобой будет не сложно. У нас имелись в запасе и другие возможности. Но потом выяснилось, что ты юрист. Это оказалось нам на руку, было очень полезным. Да еще и иностранец. Но мы могли выбрать и кого-то другого. Нам просто требовался человек, которому она поверила бы.

— И это все? Я говорю о Маше. Все сводилось к моей полезности?

— Может, и нет, Коля. Может, и нет. Я не знаю.

Прошу тебя, не надо об этом.

Голос ее был прежним, наполовину детским, только очень усталым.

— Дело есть дело, — сказала она. — Понимаешь?

— А деньги? — спросил я. — Зачем вы забрали мои деньги?

— Так почему же их было не забрать?

Странно, но сердит я был вовсе не так, как мне хотелось бы.

— Когда я увидел тебя в узбекском ресторане — помнишь, зимой? — почему ты не хотела, чтобы Маша узнала об этом?

— Боялась, что она разозлится. Решит, что ты нас раскусил. А когда она злится, мне приходится туго.

— Вы с ней действительно двоюродные сестры, Катя? И действительно из Мурманска? Кто такой Степан Михайлович?

— Это не имеет значения.

У меня остался только один вопрос.

— Где она? — спросил я. — Где Татьяна Владимировна?

И трубка сразу умолкла.

Во второй половине моего последнего дня в России, последнего из четырех с половиной лет,

которые казались мне целой жизнью, я отправился на Красную площадь. Прошел по бульвару, миновал летнее кафе и пивные тенты площади Пушкина. Спустился по Тверской к подземному переходу под безумной шестиполосной автомагистралью. В него тощей струйкой стекала небольшая компания несгибаемых коммунистов с кустистыми бровями и драными, украшенными серпом и молотом флагами, направлявшаяся к автосалону «Феррари» и памятнику Марксу, чтобы провести там митинг. Я увидел сотни три омоновцев, по большей части сидевших в смешных раздолбанных автобусах, в которых они всегда разъезжают, — лишь некоторые из них курили снаружи, лениво постукивая дубинками по щитам. Мужчина, выглядевший как пародия на Ленина, фотографировался с китайскими туристами.

Я прошел под арку. Впереди показались фантастические купола храма Василия Блаженного. Высоко над ацтекским мавзолеем наливались под солнцем кровью колоссальные звезды кремлевских башен. Был самый разгар лета, но уже чувствовалось, что где-то за Москвой-рекой набирается сил, готовясь к возвращению, зима. Сквозь тепло словно прорастал холодок. Я постоял в цен-

тре площади, смакуя и воздух, и само ощущение столицы, — пока меня не прогнал милиционер.

Ты хотела знать, почему я не рассказывал тебе о России. Главным образом, потому, что она казалась мне такой давней и далекой — прежняя моя жизнь без ремня безопасности, слишком сложная, чтобы описать ее кому-либо, слишком личная. Думаю, то же самое можно сказать и о жизни любого из нас. Где б ты ни обитал, в Чизике или в Гоморре, никто, кроме тебя самого, прожить твою жизнь не сможет, а попытки изобразить ее словами имеют лишь ограниченный смысл. И мне — отчасти из-за того, чем она закончилась, — казалось самым лучшим похоронить ее. До последнего времени я не думал, что смогу рассказать тебе всю мою историю, — ну и помалкивал.

Однако дело не только в этом. Поскольку я честен с тобой — или стараюсь быть честным, — поскольку говорю тебе почти все, мне следует назвать и еще одну причину. И может быть, главную. А ты уж решай, как тебе с ней поступить.

Конечно, когда я вспоминаю все, меня охватывает чувство вины. Но и другое чувство, куда более сильное, — утраты. Вот оно мучает меня по-настоящему. Я скучаю по тостам и снегу. По

неоновому свету, заливавшему в полночь бульвар. По Маше. И по Москве.